

Озеро Сариклен

Зинаида Миркина

Опыт, который всю свою жизнь проговаривает Зинаида Миркина, это опыт слушания тайны жизни. Она умеет слушать закат, умеет слушать лес и море, она слышит молитву дерева, слышит свет и красоту даже самого неказистого человека.

Ее стихи и проза это удивительные струны того невидимого инструмента, на котором она исполняет музыку, слышанную ею в Тишине. Прикоснитесь к ним бережно, и они зазвучат и для вас.

Творчество Зинаиды Миркиной не уместается ни в одну из жестко очерченных религиозных традиций, но, не потому что противоречит им, а потому что создает опыт диалога различных традиций. Ее творчество не уместается и в жестко очерченные рамки литературных жанров не потому что противоречит им, а потому что говорит больше, чем обычно говорят стихи или проза. Но если встречу с Богом вынести за рамки культурных традиций, то что же тогда останется от культуры?

Вот уже много лет под Рождество, дома в своей квартире З. Миркина устраивает удивительную елку. Елка создается как собор. И она также прекрасна, как лучшие храмы мира. На елку приходят и взрослые и дети, на ней даже выросло несколько поколений. И когда при таинственном освещении, в сопровождении удивительной музыки, З. Миркина рассказывает сказку, каждый год новую, ваша душа словно бредет по лабиринту, в конце которого обязательно зажигается свет встречи и узнавания.

Если вы познакомитесь с творчеством З. Миркиной, то этот свет зажжется и для вас.

М. Курочкина

ОЗЕРО САРИКЛЕН

(роман)

Пролог

Тень человека появляется в пустыне. Я не говорю о той тени, которую отбрасывает тело. Это не в счет. Я говорю о тени, которую отбрасывает душа.

Тень эта становится видна только тому, кто видел свою душу.

Она становится видна только там, где видна душа.

Пустыня. Пусто. Нет ничего. Только одна Душа. Около самого Источника жизни. Душа подошла к нему вплотную. Сейчас войдет. Сейчас сольется с ним в одно. Но — между нею и Источником жизни вырастает тень. Она встает во весь рост и закрывает Источник.

— Отойди! — говорит человек.

— Или я умру от жажды.

Тень не двигается с места. И только повторяет каждое движение души... Человек в пустыне. Он скрылся ото всех. Но от тени своей скрыться нельзя.

Она появляется перед всеми пустынноиками. Даже перед самим Христом.

— Отойди, — тихо сказал Он.

— Нет, — ответила Тень.

— Ни один человек не смеет приблизиться к Источнику. Отойди и ты, ибо ты — человек.

Иисус не двигался с места. И тень не двигалась с места.

— Ты человек. Иди к людям, — сказала Тень.

— Я пойду к людям только тогда, когда смогу спасти их. А спасу их только тогда, когда приведу их к Источнику жизни — к Отцу всего живого.

— Спасти всех людей... Привести их к Источнику жизни... — медленно проговорила Тень.

— Ты думаешь, люди хотят этого?

— Нет, люди не хотят этого. Я это знаю.

— А знаешь ли ты; чего хотят люди?

— Знаю. Люди хотят получать дары из Источника жизни, но им совсем не нужен сам Источник.

— И люди правы, — сказала Тень.

— Слиться с Источником жизни, — разве это посильно человеку?

— Только в этом спасение человека, — ответил Иисус.

— Другого спасения нет.

— Итак, ты хочешь пойти против воли людей. Но знаешь ли ты, что люди пойдут тогда против твоей воли?

— Знаю.

- И ты знаешь, что ждет тебя?

— Знаю.

— И это тебя не останавливает?

Иисус молчал.

— Но чего ты добьешься?

Иисус молчал.

— Ты будешь висеть на кресте, — продолжала Тень, — а люди будут вбивать гвозди в твои руки и ноги. Люди, те люди, ради которых ты не жалеешь жизни, будут глумиться над тобой и зверствовать, а души их, те самые души, которые ты хочешь спасти, будут еще при жизни гореть в аду. Этого ты добьешься? Это — твоя цель?

Иисус молчал.

— Глупец, ты ведь можешь стать властелином людей. Люди будут идти за тобой, как стадо. Они станут послушными овцами и не окровавят своих рук и не осквернят душ. Что тебе стоит? Стань властелином людей!

— Чтобы ты стал моим властелином? — тихо ответил Иисус.

Теперь тень замолчала. Она удлинялась... Казалось, она протянется в бесконечность. Но вдруг перестала расти, а стала густеть и уплотняться.

— Я князь мира сего, — сказала она. — И всякий, живущий в этом мире, находится в моей власти. Или ты не человек?

— Человек. Сын человеческий.

— Так что же ты восстаешь против меня?

— Я не только человек. И ты это знаешь. Я сын Бога живого. Пусти меня к Отцу.

— Не слишком ли ты дерзок?

— Нет. Я говорю то, что есть. Я семь. Я сущий. А ты — тень. Тебя не существует.

— Меня?!

— Да, тебя. Ты имеешь начало, и у тебя будет конец. А мне нет ни начала, ни конца. Я есмь воскресение и жизнь вечная.

— Жалкий человек. Ты смеешь произносить эти слова?!

— Я с тем и пришел в мир, чтобы их произнести. Я всех людей хочу привести к воскресению и жизни вечной.

— Но ты никого не приведешь туда. Ты человек. Ты все-таки человек. Взгляни в грядущее. Ты все видишь? Ты выбираешь ЭТО? Ты ведь сам выбираешь ЭТО. Запомнил? Сам. И ни один ангел не придет к тебе на помощь. И никто не отрет кровавый пот на челе твоём. Ты понимаешь? Все? До конца?

Иисус молчал.

— Измени свою упрямую волю, — продолжала Тень.

— Ведь без твоей воли ничего не совершится.

Иисус молчал.

— Ты по-прежнему хочешь войти в Источник? Ты хочешь причаститься Создателю мира? Слиться с Ним в одно?

— Да. Хочу.

— И ты готов отвечать вместе с Ним за то, что создал такой страшный мир? Готов?! Готов слушать проклятия всех этих бедных, жалких страдальцев? Если ты всемогущ, то ты — в ответе! Откажись от всемогущества... Скажи, что я могущественнее тебя. И все будет по-другому.

— Ты — могущественнее меня?! Ты — тень моя.

— Вот как, тень. А ты — сущий... Но что ты сможешь сделать, когда люди будут тянуть к тебе руки, моля о помощи, а твои руки будут раскинуты по краям креста? Что?!

Молчишь... Послушай, остановись. Призови себе в помощь легион ангелов. И этот же легион будет помогать всем слабым. И не будет в мире страдания. Понимаешь ли ты, от чего ты можешь избавить мир? Кликни легион ангелов — и с тобой ничего не случится. Все это увидят воочию и больше уже не буду сомневаться в том, что ты сын Божий. И не будет на земле множества вер и распрей и крови. Дай людям убедиться в том, кто Ты такой. Докажи им свою божественность.

— Доказать, чтобы тут же потерять ее?

Теперь замолчала тень. И в этом сгустившемся молчании раздались слова Иисуса:

— Ты хочешь, чтобы я доказывал свое собственное существование?

— Не твое. Твоей божественности, — прошептала Тень.

— Я и моя божественность едины. Я не расколот сам в себе. Тот, кто видит меня, видит мою божественность.

— Но люди будут глядеть на тебя во все глаза и не видеть твоей божественности.

— Да. Они будут глядеть на меня и не видеть Меня. Внешние глаза видят лишь человека. Только внутренние увидят Бога. Я должен привести людей внутрь. Вовне — смерть. Внутри — жизнь. Вовне — тень. Внутри — Бог. Вовне — творения. Внутри — Творец.

Тень молчала.

И вдруг — вздрогнула:

— А знаешь ли ты, что это значит — жизнь без ни-че-го, без чего бы то ни было внешнего?

—Знаю, — прошептал Иисус, но так тихо, что слово это мог слышать только Бог.

— Знаешь ли ты, что это значит — быть Творцом? — уже нельзя было понять, кто это спросил, потому что Тень стала совсем прозрачной, почти незримой.

— Знаю, — ответило все сердце Иисуса. — Это значит погрузиться в пустыню Духа. Это значит войти в самое сердце пустыни... — Иисус закрыл глаза. Казалось, он их никогда не откроет. Казалось, Он вошел в свои глаза. Спустился в их бездну. И — мир исчез.

Но вот глаза открылись. Иисус был один. Тени не было. Перед ним была огромная пустыня. А внутри него был Источник жизни.

Часть I

Что-то ее беспокоило с самого утра. Хотя ни малейших причин для беспокойства не было. Наконец-то исполнилась ее мечта. Они с мужем в этом пансионате. На озере Сариклен. Столько разговоров было, столько лет собирались - и вот наконец-то... И ведь все хорошо - и номер прекрасный, и условия здесь великолепные. О самом озере и говорить нечего. Утро чистое, звонкое. А к горлу, как легкая тошнота, все время подкатывает беспокойство.

Она подошла к зеркалу. Все в порядке. Она хорошо выглядит. Взбила волосы, стерла лишнюю пудру. Улыбнулась, вспомнив вчерашний флирт с этим профессором в синих шортах, представившимся Павликом. Впрочем, он может быть еще и не профессор, но почти... Господи, какое ей в сущности до этого дело?..

Антон уже на озере со своей удочкой. Ждет ее там под

третьим вязом от поворота. Да, вязы здесь сказочные! Каждое дерево — целый лес...

Она вышла из номера - и пошла по аллее, к озеру. Ну вот оно. Остановилась. Озеро было огромное, окруженное лесистыми холмами, неправдоподобно прекрасное. И спокойное. Совершенно спокойное - ни рябинки. И вдруг она поняла что именно этот покой и беспокоит ее.

Села в кресло, сделанное из пня. Откинулась. Поглядела на облака, опять на озеро. Жаль, что она оставила в номере фотоаппарат... Ну, ничего, после обеда возьмет. Тут же на траве растянулся кот, греясь на солнышке в позе неизбывного блаженства.

— Кис-кис-кис, — позвала она и почувствовала, что слегка завидует ему. Вот кому совсем хорошо! И, конечно, никогда никакого беспокойства...

Надо пойти к Антону. Вот он со своей удочкой и раскрытой книгой. Он, кажется, ничего не замечает. Нет, откинул книгу, посмотрел вокруг и улыбнулся. И сожмурился, как этот кот До чего ему хорошо!.. А ведь он на самом деле похож сейчас на угревшегося на солнце кота. Она не понимала, нравится ей это или нет. Пожалуй, все-таки нет. Снова уткнулся в книгу...

А почему она сама не взяла книгу? Ну, потом возьмет. Успеется. Все успеется. Свободного времени сколько угодно... И — она не знает, нравится ли ей это или нет. Ну, разумеется, нравится. Кому же это может не нравиться? И в то же время это беспокоит. Да, именно это ее и беспокоит.

«Плакать мне, что ли, хочется? — с некоторым удивлением подумала она и побрела от озера вверх к холму. — Все хорошо же. Здесь так хорошо...»

Она уже обошла мужа, подошла к следующему вязу, совсем склонившемуся к воде. Одна из толстенных веток протянулась, как рука, над самой водой. Она встала на эту ветку и медленно пошла по ней. Потом села метрах в трех от берега. Кажется, впервые прошло беспокойство. Сняла босоножки... Захотелось поболтать босыми ногами в воде. Опустила ноги. Чуть склонилась. Вода была зеркальной. Ветка вяза отражалась до мельчайших подробностей, до черточек на коре. Дальше, глубже были другие ветки, вся огромная крона, облако, еще облако, небесная синева, но... где же она? Где ее лицо? — Лица не было. Она вздрогнула, крепко обхватила руками ветку, прильнула к ней всем телом и вдруг закричала:

— Антон! Антон!

— Катя? — Антон недоуменно повернул голову на голос. — Что ты там делаешь? Зачем забралась на дерево? Эх, ты! Рыбу спугнула. Да, сейчас иду. Держись крепче, не упади.

— Ну, чего ты испугалась? — спросил он, подойдя к ней по ветви, как по широкому мостику. — Что случилось? Да что с тобой?

Казалось, она вот-вот упадет в обморок.

— Погляди в воду, — попросила она еле слышно.

Антон вдруг внимательно посмотрел на нее, помолчал,

потом взял ее за руку и сказал:

— Не надо глядеть, пойдем.

Она медленно пошла за ним по ветви, как-то безвольно подчиняясь ему. Когда они ступили на землю, он легко прикоснулся к ее лицу, погладил по щеке, провел рукой по волосам.

Она молчала. Растерянная, опрокинутая.

— Ты что, отражения своего не увидела?

— А... ты откуда знаешь? — она была очень удивлена, она вообще ничего не понимала сейчас, и эта ее запутанность и запуганность, эта обнажившаяся вдруг детскость точно пронзила его.

— Ну... ну... Не увидела и испугалась. А ты не пугайся. Это ничего. Это... так бывает.

— Бывает?

— Ну, да, бывает. Только пугаться нельзя.

— Но... как же? А ты? Ты — тоже?

— У всех бывает. Только пугаться нельзя, — повторил Антон.

Он говорил с ней сейчас, как с ребенком. Старался успокоить, даже рассмешить: — Идешь, как телок на веревочке...

Она, наконец, слегка улыбнулась. Поглядела вокруг. Солнце светит. По дороге прохаживаются люди. Скоро обед. Господи, как хорошо, что можно будет сейчас зайти в столовую, услышать веселый гам, почувствовать вкусный запах супа. Сейчас пройдет... Сейчас все пройдет...

После обеда они отдохнули в номере и вышли к озеру уже целой компанией. Казалось, утренние страхи совсем развеялись.. Ну чего, в самом деле, она испугалась? Какие-то оптические фокусы, наверное. Мало ли еще есть непонятных вещей. Из них и вырастают сказки. Котенок так же пугается своего отражения в зеркале, как она — своего неотражения. Но она не котенок, — справится. «Тайна озера Сариклен», о которой она столько слышала. Это всего лишь какой-нибудь оптический обман. И — пускай он теперь пугает других. Она уже не боится. Отражает ее озеро или нет — не все ли равно? Вот глаза людей ее явно отражают.

— В моей жизни вы — Екатерина Первая, — говорит ей профессор по имени Павлик, игриво склоняясь перед ней.

— А сколько было Елен, Марий, Ирин? — подхватывает она весело.

— В моем сердце, как и в России, есть только одна великая царица, — Екатерина.

— Ну, ну, ну, — останавливает она, но ей весело. Ей очень весело. И вдруг смех ее обрывается.

Озеро огромное, невыразимо спокойное, смотрит на нее, — как глаз, от которого некуда укрыться... Да что же это такое? Да зачем это оно смотрит в нее?! И она вспомнила, что не отражается в озере. Не отражается. Нет ее. И все.

Кате захотелось закричать, убежать, спрятаться куда-то в стены, во что-то соразмерное ей, в какое-то пространство, где она — есть, доподлинно есть.

И снова к горлу подступил комок. И — надо сдерживаться, притворяться. А Антон... Да где же Антон?

* * *

Антон отделился от компании как-то незаметно ни для кого и пошел вверх по холму. Шел легко, быстро, иногда подпрыгивал на ходу, ухватывался за какой-нибудь толстый сук и повисал на нем, точно взлетал над землей. Потом так же быстро прыгал вниз и шел дальше. А лес обступал, обступал, затягивал в себя. Прекрасный смешанный лес с огромными деревьями, с густым подлеском, звенящий, гудящий, пахучий, он внезапно раздвигался, и в прорывах просвечивало озеро.

И — никого!..

Где-то зацокала белка, пробежала кольцом по сосновому стволу, перескочила прямо над оврагом и вот уже цокает с соседней ели. Антон задрал голову и зацокал ей в ответ. Белка насторожилась, замолчала, снова зацокала. «То-то же, понимаешь меня». Затенькала синица. Антон прислушался и опять ответил на ее собственном языке, так что и не отличишь.

Пропел и расписался длинным звуком зяблик. Он и ему ответил. Этот язык он понимал. И говорить на нем умел. Наверно даже лучше, чем на человеческом. Да, на лесном языке говорить ему было, пожалуй, проще. С птицами и со зверьем как-то скорей договоришься, чем с людьми.

Антон засмеялся, потом закуковал, потом засвистел иволгой. Это был язык счастья. А все счастливые понимают друг друга. Счастливые... А часто ли он теперь бывал счастливым?

Мальчишкой, в родной деревне, когда он каждый день бегал в лес, лазил по деревьям, как белка, и, кажется не боялся ни воды, ни огня, — и ни мороза, ни жары — вот когда он был счастливым каждый день. А теперь... Теперь это, пожалуй, редкость. Однако, птицам отвечать еще не разучился. Нет, этого уже не отнимешь! Когда он научился этому, он не помнит. Кажется, всегда умел.

— Антон, пропой соловьем! — просил его дружок в детстве.

— А чего сам не пропоешь?

— Я не умею.

— Да как этого не уметь? — удивлялся Антон. — Ты слушай и отвечай. Вот и все.

У него самого на каждый лесной звук дрожала какая-то особая точка в груди. Вот из этой-то точки и рождалась песня. И он очень удивлялся: разве не у всех так?

Эх, как он редко теперь бывает в лесу!.. Антон остановился. Уперся рукой в ствол. Тихо. До чего тихо! Вдруг — ноздри его слегка раздулись, глаза прищурились: в кустах, метрах в пяти от него стояла лань и, чуть приподняв голову, общипывала куст. Увидала его. Замерла. Отпустила задрожавшую ветку. И совершенно неподвижная, глядела на Антона.

Он тоже замер. И твердил про себя: «Не бойся, не бойся... Я тебя не то, что пальцем, — мыслью не трону...»

Лань и не боялась. Господи, какой глаз!

Снова стала щипать куст, спокойно, точно никого и нет рядом. Пощипала и медленно ушла в чащу.

«Милая, ах, милая ты моя!» — прошептал Антон.

Было однажды, — не здесь, в другом лесу, — он медведя встретил. И сам понять не мог, как это было возможно, но он медведя не испугался. Ничуть. И зверь не напал, не побежал, а поглядел на него и пошел прочь. Да, было и такое. И Антона это даже не очень-то удивило. Зверя он чувствовал. И зверь его чувствовал. Со зверем он был на равных. Два зверя. Две живые души...

И Дерево — живая душа. В лесу все живое. А Дерево, может, больше всего. И все-таки с Деревом не так, как со зверем. С деревом на равных нельзя. Оно — другое. И с ним один на один, пожалуй, труднее, чем со зверем. Этого никому не объяснишь.

Антон глубоко вздохнул и задумался. Он сидел в шатре огромного вяза, прислонившись спиной к стволу. «Душа-то у Дерева, конечно, есть. А как будто бы и нет. Нет ее отдельно ото всего на свете. Для Дерева — что оно само, что луч заходящего солнца — одинаково. Что оно, что этот ветерок или вот тот бархатный холм, покрытый розоватым мхом.»

Антон вдруг поежился. Точно от холода. Один раз с ним такое было, и страха никакого не было, одно сплошное счастье. Но это было только один раз. Он как будто бы сам сошел на нет. И от этого сразу стал всем на свете. Все было, а его не было. То есть он был всем.

Но это было только один раз, а больше не повторялось. И с тех пор он что-то знал, знал какую-то черту, к которой подходить боялся. Один на один с ЭТИМ, с НИЧЕМ —

это трудно. Легче, если с удочкой, даже если не надета наживка, или с книжкой, даже если ее почти не читаешь. Все-таки еще что-то... Все-таки между тобой и ЭТИМ что-то есть.

«А ведь Катя, наверное, ищет, беспокоится», — вспомнил он вдруг, забеспокоился сам, быстро поднялся и пошел назад.

Около самого пансионата тоже стоял гигантский вяз. Антон на минуту остановился около него, прислонился лбом к коре и вдруг увидел Катю. Ну, конечно, она искала, конечно, беспокоилась. Он виновато улыбнулся и шагнул ей навстречу.

* * *

«Мамочка, мы отдыхаем прекрасно. Места удивительные. Условия — тоже. Антон, правда, для чего-то ловит бедную рыбу, которую совершенно не на чем и незачем жарить, а я... — она задумалась, отложила письмо.

— А я... Мамочка, ты мне столько говорила об этом озере, я столько ждала от него, что, наверное, теперь оно, бедное, не знает, как мне угодить... Оно прекрасно, конечно, но то, что я представляла по твоим рассказам!..»

Катя еще раз отложила письмо, а потом порвала его на кусочки и расплакалась. Антон спит. У него — никаких разочарований. Все великолепно. Катя почувствовала раздражение на мужа. Захотелось вдруг растолкать его, окликнуть... Но нет, пусть спит. Она всхлипнула и стала раздеваться. Погасила лампу — и вдруг увидела в темноте открытые глаза Антона. Оказывается, он и не спал вовсе, а так только прикрыл глаза и ждал ее. Привлек к себе. Нежно, тихо, почти как когда-то. И она от этого вдруг снова расплакалась.

— Ну, чего ты, Катенок? Ну, чего?

* * *

Антон был богатырь, который все еще не совершил своего главного подвига. А не главный — совершил? Может, быть, просто богатырь без богатырских дел?.. Она задумалась.

Все от него чего-то ждут. И он считает это вполне естественным. И то, что он не оправдывает ожиданий, тоже естественно. Вот эта поразительная естественность и есть, может быть, главное в нем. Кажется, что ему ничего не стоит сдвинуть гору; но это настолько просто, что не стоит и торопиться. А может быть, и вообще не стоит этого делать?

И чего она от него хочет? Неужели он недостаточно хорош, такой, какой есть?

А все-таки надо бы, чтобы он эту гору сдвинул — думает она и засыпает. И он приснился ей таким, каким был тогда, шесть лет назад, когда они впервые поцеловались и когда он был так хорош, что вынести это было невозможно.

Они где-то вместе, в каком-то саду или лесу. И вдруг Антон пропал. Она очень испугалась; стала искать его и нашла, — только серого, мрачного, до того страшного, что не понимала, что было лучше — найти его такого или не находить совсем. «Антон! Антон!» — стала кричать она и — проснулась. Он проснулся тоже. Он был рядом, тут же, но... Она вдруг ясно поняла, что что-то прошло в их жизни, что-то прошло, почти не начавшись — и надо затыкать какую-то никому не видимую, но явную брешь.

Как затыкать? Чем?

— Антон, я... ребенка хочу, — сказала она, неожиданно для себя самой.

Она все время откладывала это. То диплом, то диссертация. Его защита, потом ее. А ей ведь уже тридцать два. Антон хотел ребенка давно. Очень хотел, но смирился. И вот, наконец, она сама...

... В ней что-то оттаяло; она мягко улыбнулась в темноте.. Почему она утром сравнила Антона с котом? Совсем никогда он не был похож на кота. Вот на большого лохматого пса — да. Притом породистого. Она запустила пальцы в шевелюру Антона и почувствовала, что очень хочет, чтобы ребенок был похож на него. «Тошенька, милый»... Ах, если бы можно было отгородиться очего-то непомерного, которое все время подступает к ней здесь, на этом озере. Что ему от нее надо?

Ей захотелось, чтобы Антон защитил ее. Хороший, верный Антон. В сущности, она счастливейшая из женщин, и... конечно, и — все. Остальное не имеет значения.

Они рано встали. Утро опять прекрасное, но... она рада, что прошел еще один день. Стыдно признаться, но — хочется домой. .. И хорошо, что они получили свою квартиру, и будут жить теперь отдельно от матери. Как она в детстве любила мать! Да она и сейчас любит ее. И с Антоном у матери такая любовь! Дальше некуда. Он — сирота. Из крестьян. И по своей крестьянской привычке, что ли, или по сиротству своему, но так и зовет ее мать — мамой. И с чувством зовет. Держится за это, как за особое право. И все-таки это хорошо,

что они с матерью живут теперь отдельно. Это хорошо...

* * *

Ну, наконец-то они дома. Да, да, она в восторге от озера, они великолепно отдохнули. Так она всем говорит, но она-то знает... И зачем эти пронизательные глаза матери? Неужели она не может куда-нибудь спрятать свои глаза?..

— Так тебя разочаровало озеро Сариклен, моя девочка?

— Ах, мама, попробуй не разочароваться после твоих рассказов!

— Да, все мои рассказы по сравнению с одним уголком Сариклена — ничто.

— Это тебе так кажется. Но не человеку, который вырос на твоих рассказах. Ну вот, ты уже и огорчилась. А это, в сущности, комплимент тебе. Ну, чего ты так горько усмехаешься? Хотела бы я быть такой рассказчицей, как ты.

— Рассказчица, которая уводит от того, о чем рассказывает... Ну, нет. Это не талант... Я хотела бы подвести тебя к озеру, да так, чтобы ты забыла и про мой рассказ, и про меня, и про себя саму. И осталось бы одно озеро: озеро и вязы и ничего бы больше не было.

Катя вздрогнула:

— Ты бы этого хотела?

— Да, очень. Это было бы чудо.

— Чудо... Чудес не бывает. Есть только оптические фокусы и реальность... По твоим рассказам я представляла себе, что мир — это сплошное чудо. Вот и выросла восторженной дурой и жду чуда, которого нет.

— Нет?.. Неужели совсем нет? Катя молчала.

— Если чуда нет, тогда и деревьев нет, тогда... ничего тогда нет. И нас тогда нет, — сказала мать.

Катя вскинулась, хотела что-то сказать, но потом передумала.

— Знаешь, — продолжала мать, — однажды я встретила возле нашей дачи мальчика лет трех. Видно, они только что переехали из города. Я этой встрече, кажется, никогда не забуду. Он бросился ко мне и закричал: «Тетя — елочка!!!» Перед нами была елочка, самая обыкновенная, только свежая, с почками. Но для мальчика это было Чудо. А потом, недели через две, я его снова встретила. Это был уже совсем другой совершенно обыкновенный мальчик. У меня сердце упало, и я сказала: «Боря, елочка!» А он поднял на меня скучающие глаза и сказал: «Ну и что? Я ее уже видел».

— Ну, и что же ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Никто ему ни про какое чудо раньше не рассказывал. Сам увидел. Сам и перестал видеть.

— Ах, мама... Ну да, не рассказывал. В нас всех, наверно, заложено это идиотское ожидание чуда. Но растревлять его не надо. Ведь оно обманет. Через две недели или через два года, или через шесть лет, но все равно обманет...

В голосе Кати прозвучала такая тоска! А через минут казалось, что ничего и не было. Никакой тоски. Собранная красивая женщина стоит и спокойно говорит:

— На чуде ничего не построишь, мама. Другое нужно. «Что, что другое?» — хочет спросить мать и не может. Что же это другое? — думает она ночью, глядя в потолок.

«Другое нужно». Где она уже слышала эти слова? Ах, да, вспомнила. Это сказал ей директор после того, как побывал на ее уроке в девятом классе, когда она рассказывала о Раскольникове и Соне Мармеладовой. Он вызвал ее тогда в кабинет и долго обтекаемо говорил что-то. Было непонятно, понравился ему урок или нет. И вот, под конец он сказал: «Вы — поэт, Ольга Алексеевна, но другое нужно».

А ведь это был умный директор. Он теперь давно уже работает в педагогической академии. И уроки ее, в общем-то, он любил. Оказалось даже, что гораздо больше любил, чем показывал. Любил?.. «Вы поэт, Ольга Алексеевна, но... другое нужно». Этого другого она так и не нашла за всю свою жизнь. Была тем, чем была... И ничего другого — не было.

* * *

— Анка! О, Господи! Как я тебе рада!

— Правда? Ольга Алексеевна, ничего, что я так, без звонка ворвалась? Я — на минуточку. Я только вчера приехала с гастролей. И мне так нужно увидеть вас!

Она стала выкладывать необыкновенно большие и душистые персики, потом поставила в вазу чайную розу величиной с блюдце и вся сияющая зарылась головой в грудь своей бывшей учительницы.

— Ой, наконец-то! Я так соскучилась!..

Анка была ее любимой ученицей. С упоением играла в ее школьном театре, жить без этого не могла. И вот теперь — стала большой актрисой, хотя ничего, решительно

ничего в ней не изменилось. Такая же совершенно не уверенная в себе девочка, которая вдруг, в одном порыве могла переубедить всех.

— Ольга Алексеевна, сколько мне нужно вам сказать, сколько спросить!.. Я ведь Маргариту играть буду. Вы понимаете, как вы мне нужны сейчас?! Ольга Алексеевна, родненькая!.. — она разлетелась сказать что-что и вдруг осеклась, увидев осунувшееся после бессонной ночи лицо и запавшие глаза, в которых накалились слезы.

— Что... Вы?.. Что с вами?..

— Ничего, моя девочка, ничего. Ты не знаешь, до чего я тебе рада... А помнишь, ты ко мне вот почти так же вбежала однажды, в школе, когда мы ставили «Моцарта и Сальери», и заявила, что ты и есть Сальери, и что я должна или немедленно поссориться с тобой, или согласиться, что Пушкин неправ, а прав Сальери, и что Генка должен совсем иначе играть Сальери.

Анка улыбнулась своей открытой во все лицо улыбкой:

— А вы знаете, ведь это было у меня очень серьезно. А вы сказали: если ты Сальери, то ты должна убить Моцарта. А я ответила, что здесь-то Пушкин и неправ. Никого Сальери не убивает, но он один рассуждает правильно.

Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, Как простая гамма...

А почему вы сейчас про это вспомнили, Ольга Алексеевна?

Ольга Алексеевна не ответила. И, глядя куда-то сквозь Анку, продолжала:

— Я тебе сказала тогда, что ты не понимаешь, что такое Сальери, потому что ты искренняя, у тебя горячее сердце. Ты ставила эти качества ни во что, моя дурочка, и все твердила, что Сальери такой благородный, а Моцарту все даром достается. А нужно, чтобы всем одинаково. И под конец созналась, что ты сама завидуешь Лене Астаховой и считаешь, что это зависть правильная. Но ведь Лена Астахова умела только очень хорошо притворяться. И это-то и выводило тебя из себя.

— Это так. Это вы точно. Но вы знаете, если бы она была настоящая, может быть, я тогда бы ей тоже завидовала, все равно завидовала бы. А?

— Нет. Ты бы ее тогда любила. А любовь и зависть — две вещи несовместные.

— Да? Разве нельзя завидовать тому, кого любишь?

— Может быть, только на мгновение. А потом — или- или. Или любовь убьет зависть, или зависть убьет любовь. Убить Моцарта — это убить свою любовь. Это — убить свое

сердце. Знаешь, кто такой Сальери? Это человек с вынутой сердцевиной. Человек, которого нет. Он не живет, а кажется. Выглядит. Живет в глазах других. Как только люди заметят, что его нет, он рассыплется. Ему надо доказывать всем и себе самому, что он есть... Сальери — это человек, который доказывает собственное бытие.

* * *

Ну, вот и пришло в дом самое невероятное.

— Ольга Алексеевна! Мать! У вас внучка родилась!

Антон сказал это прямо с порога. А потом сгреб ее в объятия. А она вдруг забилась, затрепыхалась в его руках.

— Ну, чего вы, мама, мамочка! Ну будет, будет, — говорил он и — сам едва удерживал слезы.

Пора было уже остановиться. А она не могла. Никак не могла. Она была сейчас, как зашедший в плаче ребенок. Хорошо, что при нем — не стыдно.

При нем действительно было не стыдно. Никогда не стыдно при нем обнажать душу. Это и было, наверное, самое главное в Антоне. С ним можно было быть, как с самой собой. Такого сыночка ей Бог послал. И это ведь он такой со всеми. Иной человек, кажется, вовсе без души — пустое место, а для Антона нет, — душа живая. Он так с ним поговорит, что вызовет эту душу откуда угодно, даже из пяток, если она успела туда уйти.

— Ну, ну... и будет... будет. — Он бережно отирал рукой ее лицо. — Вот мы с вами теперь какие важные. Отец и бабушка. Бабушка, а? Папа... Па-па!..

Он засмеялся, а потом взял под локотки эту худую легкую женщину и закружил по комнате.

— А теперь — накрывать на стол! — он стал быстро хозяйничать в ее холодильнике. Дождался, наконец, когда она опомнилась, улыбнулась, вернулась из своего далека в эту комнату, и тогда достал из внутреннего кармана бутылку водки и подмигнул ей: откушай, мать!

Они чокнулись. И вдруг он рассмеялся над тем, как она скривилась, закачал своей великолепной шевелюрой. Сам он пил легко, привычно. «Уж не слишком ли? — мелькнуло у нее в голове, но впрочем так, на секунду: мелькнуло беспокойство и прошло. — Водка Антона не одолеет. Этого бояться не надо.»

Ольга Алексеевна залюбовалась им и опять смахнула слезу.

Антоном можно было залюбоваться. Им любовалась не только она. Говорят, что Антон — талантливый физик. Наверное, так и есть... Ольга Алексеевна этому верила, хотя в физике ничего не понимала. Она слышала, что сотрудники говорили о нем с глубоким уважением. Все ждали, что он сделает какое-нибудь великое открытие. Но Ольге Алексеевне это было как-то совсем неважно. Сделает, не сделает, — это все равно не главное.

Главный его талант был душевный: взглянет на человека и откроет в нем то, чего никто не видит. И обязательно самое лучшее, о чем сам человек, может, и не подозревал. Или подозревал, но уж так смутно, безо всякой веры... Водка?.. От самого Антона душа пьянела, а не от водки. Поговорит с ним человек минут десять или двадцать и вдруг теряет чувство границы и не знает, — где он, а где Антон. Все, что болело в его душе, теперь общее, одно на двоих, и все, что радовало — тоже.

А если эти разговоры все чаще протекают за рюмкой, то и пусть. Как легче Антону, так пусть и будет. Когда понадобится, он эту рюмку отставит и — перевернет горы.

Так чувствовали почти все, кто любил Антона. А теща его любила настоящей материнской любовью. И он платил ей тем же.

— А знаете, как мы дочку назвали?

— Уже и назвали?

— Давно придумано. Если сын, то — Олег, если дочка, то Олеся... Что, нравится? Еще бы не нравилось! — он был очень доволен. — А ведь не догадываетесь, почему. Где вам догадаться! Ну да, прямо так — Ольга — не хотели. А «в поток, в пророчество речами косвенными» — процитировал он свою любимую Цветаеву.

— За Ольгу! За то, чтобы внучка в бабку пошла, — налил он и еще раз чокнулся. — Лучшей не надо!

— Это ты придумал или она?

— Катя, Катя — и я, конечно, тоже. Еще вопрос, кто вас больше любит. Еще вопрос, какая она будет, моя внучка..., т.е. ваша дочка, то есть...

Господи, как быстро он захмелел! И вот уже голову на руки. Спит... Тошенька...

* * *

И все-таки он стал сдвигать горы.. Там, где от него меньше всего ожидать могли. Каким он стал отцом! Как вдохновенно он не спал ночей, а потом шел на работу, как ни в чем не бывало. Таскал продукты, мыл полы. Выискивал что-нибудь необыкновенное, чтобы порадовать Катю, покупал игрушки и платьица на вырост, впрок. Убирал, стирал пеленки, уставал смертельно и — был счастлив. Весь светился.

Катя все это видела и не видела... Сама она не светила. На счастье ей не хватало сил, слишком велика была тревога...

Когда она пришла с дочкой из роддома, когда Антон положил пакетик на стол и развернул его, Катя развела руками, потом прижала руки к груди и, глядя на свою крохотку, сказала:

- «Доченька моя! Как мне страшно!..»

Вот это-то, кажется, и пронзило Антона в самое сердце. До чего она хрупкая, до чего напряжена сейчас!.. Вот-вот сорвется. И он всю силу свою отдал ей и решил во что бы то ни стало победить ее страх. А она — видела его и не видела. Она весь мир сейчас видела и не видела. По-настоящему ничего не видела, кроме ребенка. Все было обыкновенным, привычным, не стоящим внимания, но — это!..

Она стояла возле своей девочки так, как будто ее высадили на Луне или на Марсе. Все — незнакомое, все — неведомое, и однако все — настоящее.

Неужели настоящее? — снова и снова сомневалась она и — убеждалась в этом снова и снова. Эти пальчики... а ногти!.. Бровки... И глаза... Глаза смотрят! Начали видеть ее — Господи! И это — ее дочка! Неужели у нее, наконец, есть что-то совсем настоящее?! Ей казалось, что все теперь должны относиться к ней иначе, чувствовать в ней что-то такое весомое, особенное. Если чувствуют, то это так и надо, а если нет — то это как-то странно — неужели не понимают? И, конечно, все все делали не так.

В голосе ее стали появляться властные, командные нотки.

Но Антон сносил это кротко, с улыбкой.

— Мать-командирша, — иногда кивал он Ольге Алексеевне... — Ничего, ничего. Это можно понять. Сейчас, Катенок, сейчас, — срывался он по первому же ее зову.

Иногда Катя обижала мать. И миротворцем снова был Антон.

— Ну, что вы? Вы ж — наша мудрость, — говорил он — и не можете понять, что она сейчас немножко чокнутая: Это пройдет. Вот вернется к своим лекциям, наденет свой синий костюм и сама над собой посмеется.

Катя была филологом, как и мать. Но в школе работав не осталась. В свои тридцать три года уже читала лекции в педвузе. У нее были печатные работы. В каком-то кругу ее знали. И все это сейчас было — ничто перед вот этим маленьким комочком, который лежал на столе и болтал всеми четырьмя конечностями. И этот настоящий живой комочек был ее, Катиной собственностью. Ее — и больше ничьей!

И все-таки через год она действительно вернулась к своим занятиям, и казалось, что материнская страсть чуть поутихла. Пришлось взять няню: Ольга Алексеевна не вышла на пенсию. Катя согласилась на няню с большой неохотой. Не все-таки согласилась. Действительно надела свой синий костюм. Стройная, красивая, с умным волевым лицом, она ходила легкой походкой победительницы. Лектором она была хорошим, даже очень хорошим... Она как-то одним духом взлетала на кафедру, раскладывала свои бумаги и начинала говорить так живо, так увлеченно и страстно, что подчиняла себе, даже завораживала аудиторию. Когда сидела над книгами, готовясь к своим лекциям или статьям, была зоркой, быстрой и меткой. «Ну, слава Богу, все, как раньше», — думал Антон. И собеседницей она была увлеченной, страстной, прямо выхватывала мысль на лету, заражала и заряжала людей. Антон во время таких бесед любовался ею, но сам держался в стороне.

Все вернулось на свои места. Жизнь пошла своим ходом. Катя готовилась к конференции по Достоевскому. Должна была ехать в Ленинград.

И вдруг разразилась гроза. Такая неожиданная, что это было похоже на светопреставление.

В субботу вечером Катя позвонила матери и спросила, не сможет ли она остаться с Олесей. То есть Катя привезет к ней девочку и оставит, может быть, дня на три.

— Как? Почему?

— Нам с Антоном надо уехать, а на няню я девочку не оставляю.

— Ну, привози, конечно. Только... я ничего не понимаю.

— Это неважно, — сказала Катя.

Она приехала с каменным лицом. Поцеловала мать, дала указания и тут же собралась уходить, но вдруг вернулась, порывисто обняла дочку и выбежала из квартиры, спрятав лицо.

— Катенька! Доченька! Что с тобой?! — но Катя уже сбежала с лестницы. А в квартире заплакала Олеся.

Все разрешилось в двенадцать часов ночи, когда неожиданно пришел Антон. От него сильно пахло водкой. В глазах стояли слезы.

— Как? Ты не уехал с Катей?! Что случилось, Тошенька?

— А то, что Катя... Катя... выгнала меня.

— Что-о???

— Она не виновата. Это все я.

— Ты... Н-не поверю.

— И не верьте. Это правильно. Верить нельзя. Но все так и есть. Но вы не верьте.

— Может быть, ты все-таки еще что-нибудь скажешь мне?

— Ольга Алексеевна, мать... Мама. Я тот же. Я ничуть не изменился. Я ваш сын. Я Катин муж. Но я... полюбил другую женщину.

— Ты?!

— Да, я.

— Подожди... Так ты... сам уходишь от Кати?

— Сам?... Нет, не сам. Разве я сам могу... Я сам и понять ничего не могу.

— Так это Катя все решила? У тебя было увлечение, а она не хочет простить?

— Нет. Не то. Это не просто увлечение. Это больше. И я сказал Кате, что сам ничего не могу понять и... выбрать. Для меня выбор — это смерть.

— Ну, тогда ты уже выбрал. Если выбрать жену и дочку для тебя — смерть, то ты уже выбрал ту... другую...

— Нет. Не выбрал. Но я ее люблю. И Катю люблю. Они сами должны выбрать. Разве я могу разлюбить Катю? Разве можно разлюбить? Кто разлюбил, тот не любил... Мама, скажите, что я должен? Что я могу? Скажите, и я вас послушаюсь.

Она молчала.

— Ольга Алексеевна.. .

И вдруг он рухнул перед ней на колени и обхватил ее ноги руками.

— Простите, простите! Только не разлюбите меня! Скажите, можете ли вы не разлюбить меня? А?.. Возможно такое?.. И что это такое — жизнь?

* * *

Катя вспомнила теперь, что все это началось не так внезапно. Гром грянул не совсем среди ясного неба. Были тучи. Но разве можно было предвидеть ЭТО?

Однажды Антон пришел домой пьяный. Не навеселе, что с ним случалось нередко и даже шло ему, а — пьяный, тяжело пьяный.

Катя охнула и сказала:

— Отправляйся спать. К ребенку я тебя не пушу.

Он вздрогнул, а потом так жалко сник и пошел спать. Какой он тогда был жалкий и — эта его чрезмерная нежность наутро, почти болезненная, неестественная какая-то... Вот что все это, оказывается, означало...

Он стал выпивать все чаще и чаще. И эта пьяная нежность к ней — все повторялось. И, наконец, этот вечер. Чувствовала же она, что что-то не так. Такая тоска навалилась, что жить не хотелось. А его все не было и не было. И подумалось ей, что когда придет, она бросится к нему, ни в чем упрекать не будет, зацелует даже пьяного. Что-то должно стать по-другому. Ну почему он стал пить? Ну... Надо вернуть что-то. Жалко ей вдруг его стало. И это было какое-то новое для нее чувство. Он ее всегда жалел. А она его? С чего бы? Он всегда все мог и всегда ему было хорошо. А вот теперь — нехорошо. Что-то не так, не так что-то...

Да чего ж его все нет и нет? Должен был прийти в шесть, а уже девять...

К половине одиннадцатого Катя думала, что с ума сойдет от беспокойства... И вот тогда-то он и явился. Когда раздался звонок, она выбежала с криком:

— Живой! Живой все-таки! Больше мне ничего не надо. И тут-то он ей и сказал:

— Нет, Катя, не живой. Это только кажется, что я живой, — и следом те самые слова:

— Катя, я тебя по-прежнему люблю, но я... люблю еще одну женщину...

А потом... Да не все ли равно, что потом? Потом уже ничего не было.

Она только сказала ему, что в гареме жить не намерена и что теперь это не его дом. И еще, кажется, прибавила: пусть он уйдет сейчас же, сию минуту туда, в другой дом.

И — он ушел. А ей показалось, что это страшный сон, что она убивает и себя, и его. Потому что она помнит его лицо... Помнит... Это было и вправду не живое лицо.

Он вернулся с лестницы. Сказал, что другого дома у него нет, что идти ему некуда, что дом его только здесь и нигде больше, хотел сказать что-то еще, но застыл молча, а потом так же молча — ушел.

* * *

Он и вправду ушел не туда, не к ней. Туда идти было нельзя. А если б было можно, ушел бы? Антон вздрогнул и застонал. Прислонился к стене. Ему захотелось сесть, лечь вот тут же, посередине пустой улицы и не встать больше. Вот бы выход...

И тут ему вспомнились слова: «Времена Анны Карениной давно прошли. В чем, в чем, а в этом наше время умнее».

Это она сказала. Да, для нее все это именно так. А вот для него, оказывается, нет. И, разумеется, дело тут совсем не во внешних приметах времени. Изменились-то только они. А вот сердце... сердце... как разорвать сердце на две части?.. Анна Каренина убила себя потому, что разорвалась на две части. Она еще думала, что жива, а уже не жила, когда знала, что Сережа проснется без нее, и она без Сережи... Будет звать ее, а ее нет. Или сердце, как червяк, может жить разрезанным?

Сережа... то есть, Олеся... Об этом и думать невозможно. Но не только об этом. А разве Катя не впечатана в сердце? Разве можно просто так сказать: ты была и прошла? Была, а теперь — нет? Ведь она же в нем. Она же болит в нем, как собственная рука. Он ощутил жгучую боль в сердце и застонал. «Хорошо, что на улице никого нет. Хоть это хорошо». И вдруг пришла мысль: а не поздно ли еще сейчас на вокзал? Успеет ли добраться до Переделкина? Кажется, успеет. Ну, тогда есть где переночевать. И спрашивать его там ни о чем не будут, если он только попросит не спрашивать. И он побрел к Киевскому вокзалу.

* * *

— Прости меня, мама. Я не могла иначе. Мне так надо было отключиться ото всего. Побывать одной. Совсем. Вот я и придумала все это. Я дала себе три дня. Пожалуй, этого

достаточно. Хорошая доза снотворного, полная расслабленность, и вот я уже могу жить.

Катя курила сигарету за сигаретой. Движения рук — быстрые, голос — собранный. Теперь — работа, конференция, и — Олеся. Моя Олеся.

Она подошла к девочке, подняла ее на вытянутых руках над головой и рассмеялась.

— Моя!.. Моя... Радость моя... Будем жить с тобой вдвоем. Будет нам немножко бабушка помогать. Есть у нас какая-никакая няня... И никто нам с тобой не нужен.

Вдруг замолчала. Брызнули слезы. Уткнулась матери в грудь лицом. Но — на минутку.

— Давай, оденем Олесю... Домой собираться надо.

На конференции Катя выступила с блеском. И как держалась на кафедре! Казалось даже, что она помолодела и похорошела.

Вот только дома, после того как укладывала дочку!.. Но тогда ее никто не видел. Одна мать, кажется, видела — сквозь улицы и сквозь стены. И каждую секунду готова была подставить всю себя... Но... это было не нужно. Катя не хотела. Катя отодвигала ее. И это мать тоже понимала.

А с Антоном было, пожалуй, еще хуже... Нет, он вовсе не ушел к другой женщине. Бог знает, где он пропадал, но когда появился у Ольги Алексеевны, она едва удержалась от вскрика, такой он был страшный, неправдоподобно худой, бледный до синевы, с запавшими глазами. Он был трезв. Но она почувствовала, что это дорого ему стоило.

— Нет, не выбрал... Это для меня невозможно. Ни на ком я не женат. То есть я на Кате женат. Я же говорил вам, что я Катин муж и ваш сын. Не все ли равно, где я живу? Я у вас живу.

Если... если, конечно, вы не выгнали меня.

«Нет! Нет! Нет! Не выгнала!» — хотела вскрикнуть она, но смолчала. Ни слова не смогла выдать. И как потом жалела об этом!

— Олеся...

— Не надо об Олесе... Не надо! — вдруг вскрикнул он и закусил губу. А когда поднял глаза, в них была такая боль и безнадежность, что забыть этого она уже не могла никогда. Потом взял себя в руки, отгородился, опустил голову. «Ну, я пойду».

И ушел. Неизвестно куда.

И ничего, ничего сделать для этих двоих бесконечно родных людей она не могла.

В следующий раз она встретила его в магазине. В очереди перед собой вдруг услышала знакомый голос. Вздрыгнула и только тут поняла, что это он протягивает чек продавщице, что этот человек с торчащей из кармана бутылкой, — он. И тут уж она не выдержала, оттащила его в сторону, уцепилась за него, боясь, что не сможет удержать.

— Антошенька, Тоша, сынок, идем ко мне. Я тебя очень, очень прошу. Я же тебе так и не сказала, что я не разлюбила тебя и не смогу разлюбить. Я ж тебе осталась матерью. Что же ты делаешь со мной?!

Он был пьян. Он был сильно пьян. Он готов был, кажется, свалиться ей на руки. Но вдруг отстранился и, — изо всех сил стараясь владеть собой, — сказал:

— В другой раз, мать, в другой раз. Я приду, мать. Спасибо, мать. А сейчас — нет. А сейчас — не ходи за мной.

Тут кто-то чужой подошел к нему. И они ушли.

«И что это такое — жизнь?» — промелькнуло у нее в голове, в седой ее голове.

* * *

Как просто это она сказала о временах Анны Карениной! Но ведь это не кто-то, это она сказала. Для нее все внешнее пустяки. Она — это чудо, Чудо, которое не гаснет, не тускнеет. Вечная весна. Клейкие листочки, которые всегда вот такие клейкие, остро-дурманно-свежие, абсолютно живые. Ей — все можно. Что она сделает, то и хорошо. Она — великая женщина. А он... Куда ему до нее! Он сразу спросил ее: «Так как же? Что же дальше?» Она пожала плечами: «Никак. Вот так. Внешне ничего не должно и не может измениться. Или ты думаешь все ломать? Уйти от Олеси и Кати? Ты не сможешь ведь. Да и я не оставлю Леву. Я ему нужна»,

— Но... Боже мой, как же?..

Вот тут-то она и сказала, что прошли времена Анны Карениной, и так просто улыбнулась ему: «Никакая это не ложь. Если в сердце все совмещается, то почему должно разрываться в жизни? Я нужна и тебе, и Леве. Ты не можешь без меня, но и без дочки с Катей тоже не можешь. А коли так, так значит, так и надо».

Самому повторить эти слова невозможно. Все начинает звучать чудовищно. А когда она говорит, — нет, не чудовищно...

Он ведь недавно почти то же самое услышал от одного собутыльника и чуть не запустил в него стаканом. Потому что тот пошлости говорил.

Вот уж если есть в мире две вещи несовместимые, так это Она и пошлость. Не только в ней, но даже рядом с ней ничего пошлого быть не может. При ней пошлость умирает,

В этом Антон был уверен абсолютно. Кто хочет, пусть опровергнет. Но он-то знает!

Впрочем, это знал не только он. Все, кто были рядом с нею, чувствовали, что здесь душа расправлялась. А как она соединяла людей! Точно ее дом, как и ее душа, были открыты настежь и никогда не скудели. Вещи, такие тяжелые в других домах, у нее становились легкими и ненавязчивыми — знали свое место. Вещь — это всего лишь вещь. Она могла, не раздумывая ни минуты, отдать любую. А человек —

Живу — никто не нужен.

Взошел — ночей не сплю.

Согреть Чужому ужин —

Жилье свое спалю!

Взглянул — так и знакомый,

Взошел — так и живи!

Просты наши законы:

Написаны в крови. /М.Цветаева/

Эти стихи — о ней. Она их любила. Как она читает стихи, Боже ты мой! Все исчезало — время дня, время года, ближайшее пространство. Оставалась только Поэзия. Душа и Поэзия. Она и есть Поэзия. А Поэзия... Кто же Поэзию судит?

И вдруг — острая боль пронзает его, искривляет лицо.

— Послушай... а как же ты... с ним?.. Разве это возможно?

Она слегка пожимает плечами: «Глупый. Глупенький ты... Я в это время думаю о таких... о разных вещах. Ну, о чем бы то ни было... Просто, я в это время — думаю».

— А я — умираю, — шепчет он.

И ему кажется, что вот сейчас он и умрет, на этом самом месте. Но он не умирает. Он пьет.

Только пьяным он и может приблизиться к Кате. И вдруг откуда-то берется такая нежность к ней!.. Нет, он в это время не думает. Думать?! О, Господи! Только бы не думать! Ни о чем не думать... А потом — пить. И он — пил.

Иногда вместе с Ней... Как Она великолепно пила! Где ему до нее! Он уже окосеет, а Она — ни в одном глазу. Такая же ослепительная!

Интересно: Катя — это Катя. А Она — это Она. Когда-то Катя была Она. А потом перестала быть Ею, а Катей осталась. Его Катей. И как все-таки с этим быть?!.. Вот он и не выдержал. Сказал Кате. А она его — выгнала.

Что ж, наверное, так и надо было. Только ведь ничего не решилось. Он ведь даже не сказал Ей сразу, что уже не живет дома. Тянул. Жил в Переделкине и — тянул. И вовсе не чувствовал никакого права прийти и сказать: «Я кончил — и ты кончай. Надо быть вместе». Нет, ничего в их отношениях не менялось. А может быть, менялось. Только — не к лучшему. Вот Она уже узнала, что он живет в Переделкине, и все равно ничего не меняла. Он оставался у нее изредка, когда Лева был в командировке. И то не всегда. Совсем не всегда.

Он по-прежнему не имел на нее никаких прав. А кто-нибудь имел их хоть когда-то? Кажется, никто. Все, чем она дарила, — ее милость, ее добрая воля. А она — вольная. Кошка, которая ходит сама по себе. Антон чувствовал, что она слегка отстраняется, точно какая-то легкая завеса появилась между ними. Еле заметная — но есть. Да нужен ли он ей? В самом ли деле нужен? Она — чудо.

И таким же чудом останется, если его рядом не будет. С ним ли, без него ли, — не так уж важно. Она всегда выживет.

Вот она стоит у окна и курит. Сизые колечки дыма, ее спокойное, слегка отстраненное лицо, почти лицо наблюдателя.

— Скоро у тебя все перегорит, — сказала она.

— У меня?!

— Да, у тебя. У всех перегорает.

Ему казалось, что перегорает, скорее, у нее.

— Ты всегда первая обрывала? Со всеми? Она пожала плечами:

— Как когда. Не все ли равно?

Что ж, она права. Не все ли равно? Что бы ни было в жизни, она оставалась собой. Она не терпела вялых, чадающих, привычных отношений. Конечно, без этого нельзя, но тогда это — долг, семья, супружество... Ну, а в «личной жизни» — избави Бог! Спичка вспыхивала и сгорала. На то и спичка. Ну и что же? Запас спичек в ней никогда не иссякнет; во всех иссякает, но не в ней. Она хорошо знала, как исчерпаемы все эти отношения!.. И она так просто и спокойно меняла прежние страстные — на новые дружеские. Казалось, никогда разрыв не был для нее трагичен. Хватало какого-то спокойного мудрого опыта и доброты.

Ну, а ушел — как не был,

И я — как не была.

Впрочем, почему «не был»? Был и продолжал быть, только в другом качестве.

Все в ней было прекрасно, потому что она была сама Поэзия. Но... он-то был другой. И ему-то было худо. Ох, как худо! Иногда он задумывался: неужели совсем не было трагедий в ее жизни? Да так ли это? Спрашивал. Она уходила от ответа. Пожмет плечами, улыбнется своей обезоруживающей улыбкой: как видишь, выжила.

Но он-то не выживал. Явно не выживал. И все чаще его мучил вопрос: да надо ли выживать? Да стоит ли? Есть ли что-нибудь, для чего стоило бы жить, терпя все это?

Что-то чуждое ворвалось в его душу. И распорядилось им. Он был сам себе не хозяин. Не мог, не мог же он по доброй воле обидеть Катю, Олесю, мать... Да, мать... Когда он вспоминал ее глаза, ему хотелось закрыть свои. — Ну, разве я виноват? — шептал он тогда. — Ну, разве я виноват?.. Так что же я такое? Щепка в водовороте? «Тварь дрожащая»?.. — Он стонал, и — ничего не решалось. Сплошной вопрос.

Вот с этим молчаливым вопросом он все чаще вглядывался в людей. Все в его душе вставало вверх дном, и весь мир хотелось испытать, проверить заново. Любовь? Да существует ли она вообще? Хоть у кого-нибудь есть так называемая нерушимая любовь? Или все вывеска, афиша, обман для таких идиотов, как он? Вот и в нем

самом... Одна «нерушимая любовь» сменила другую. Или две «нерушимые» рядом?
А на самом ли деле нерушима эта его вторая, роковая? Или... или все одно?

Виноградниками Везувия

Не сковать. Великана льном

Не связать. Одного безумия

Уст — достаточно, чтобы львом

Виноградники за-во-ро-ча-лись,

Лаву ненависти струя-

Будут девками ваши дочери

И поэтами — сыновья.

Вот это сказано честно. Вот это — разговор. Как-то он у общих знакомых повстречал Анку с ее Сергеем. Анку он очень любил. Как сестру, по Ольге Алексеевне. Сергей... Черт его знает, что она в нем нашла, но говорит, что любит, что это такая любовь!.. Антон усмехнулся криво и горько. В этот-то момент и поймал на себе взгляд Анки. Он был полон не то ужаса, не то глубочайшего сочувствия. Может быть, и того, и другого вместе.

Анка рассказывала потом Ольге Алексеевне:

— Понимаете, я ведь ему Катю не прощаю. Я хотела стать в позу, то есть просто, думаю, и говорить-то с ним не стану. И вдруг увидела его лицо!..

— Что, серый, землистый?

— Еще хуже. Я почувствовала, что погибает человек. Я его потихонечку увела из-за стола в кухню. Покурить пошли. «Что с тобой?» — спрашиваю. Он глаза вскинул. Они совсем запали. В них слезы стоят и не льются.

— Ну, не здесь же, — говорит, — рассказывать. Хочешь, я к тебе завтра приду, поговорим. — Хочу, — говорю, — приходи. Я завтра днем свободна. — Анка остановилась..

— Ну, вот и пришел... С бутылкой. Правда, еще не пьяный. Мы поцеловались, как всегда при встрече. Вдруг чувствую, он иначе целоваться хочет — верить не могу. «Что

ты, — говорю, — с ума сошел?» — «Почему, — говорит, — сошел? Ты что думаешь, только сумасшедшим можешь нравиться? А может, — говорит, — я тебя давно люблю? Могла бы ты для меня бросить Сергея?»

Представляете? «Да с чего ж ты взял, что я от Сергея могу уйти?» — говорю ему. А он отвечает: «Все от всех могут уйти. А от Сергея и подавно. Не стоит тебя Сергей». Ну, это я знаю — его давнее к Сергею. Тут он дурак-дураком. Даже когда был умный, здесь был дурак. Никак не мог понять, что я в Сереже нашла.

Ну, я стала его урезонивать. Ты, мол, выпил лишнее. «В рот еще, — говорит, — не брал. Вчера размахнулась, хотела человека спасать, а теперь — в сторонку? Подыхай, собака?» Ольга Алексеевна, чувствую я, что он и вправду, может на себя руки наложить.

Это видно было, только не из-за меня, конечно... Я тут ни при чем. Но что ж мне делать было? И вдруг я так разозлилась — и закричала: «Эгоист ты, гад! Сам всех губишь, а тебя спасать надо?! Да почему ж я тебя должна спасать, а Сергея губить? Я его люблю, а не тебя!» — «Правда, — говорит, — его любишь?» — тихо так сказал и вдруг стал похож на себя прежнего. И мне почудилось, что это ему, позарез, до смерти надо было испытать, а есть ли на свете любовь, которую нельзя разрушить?.. Я тогда еще больше обозлилась и стала его ругать, уже не помню как. А он говорит: «Погоди, тише... Ну забудь все, что я говорил, только съезди со мной разок на озеро Сариклен. Давай посидим там, под теми вязами... А? Мне только этого и надо, а больше ничего не надо. Я бы с матерью поехал. Но ведь не попросишь ее об этом. Дичь ведь. Ну, конечно, и у тебя просить — дичь. А почему? Ты что, не веришь, что я тебе брат?» Понимаете, это после всего, что наговорил? Ну есть тут здоровое что-то? Погибает человек, черт знает до чего дошел. И — жалко его, так жалко!..

Ольга Алексеевна сидела неподвижно, закрыв глаза.

«Ах, какие вязы на озере Сариклен! Какие там вязы!» Вот что вдруг пересекло все ее мысли, остановило их. И так необходимы стали ей это вязы! Такая вдруг тоска по ним захватила ее душу!.. Вот если бы очутиться сейчас там, все бы и разрешилось. Ей это вдруг стало так ясно!.. Эти склонившиеся над водой вязы, каждый величиной с целый лес... Только бы прильнуть к ним и затихнуть. И появились бы силы на все. И всем на все можно было бы ответить...

— Анка... Аннушка... А ты помнишь вязы на озере Сариклен?

— Да, помню.

— Да вправду, помнишь ли?..

* * *

Они сидели за столиком втроем, в пустой каморке у институтского слесаря Федя. Сам Федя, еще один работяга и Антон. Антон Николаевич Березин.

Одна бутылка была уже под ногами. Допивали другую.

— Понимаешь, чуть-чуть не зашиб ее палкой, да она убегла, — говорил Федя, показывая свою покусанную собакой руку.

— Убегла, — передразнил Антон, — слава Богу, что убежала. Зашиб... Эх, ты! Зверя чувствовать надо.

— Посмотрел бы я, что ты чувствуешь, когда на тебя собака кидается...

— Зверя я чувствую, — спокойно сказал Антон, — зверя я понимаю. В звере всегда что-то дрожит. Какой бы бесстрашный зверь ни был, а в нем есть жилка, которая дрожит. И во мне есть. И я эту его жилку своей такой же чувствую. Братки, понимаешь?

Антон помолчал, задумался. *

— Тут между нами что-то протянуто. Ниточка такая. Дрожит вот тут, — он притронулся к груди. — А вот в Дереве — нет, нет такой жилки. В Дереве ничего не дрожит, — сказал он точно самому себе, не глядя на собеседника. Но собеседник очень удивился.

— Вот тебе на! Это дерево-то не дрожит?! Да, как ветер дунет, оно все и запляшет.

Антон сморщился.

— Не запляшет. Выбирай выражения. Дерево не пляшет, а трепещет. И вообще... — он снова помолчал, потом поднял голову и сказал с тоской: — И вообще, что ты понимаешь в дереве?

— А чего тут понимать? Это же просто видно, как дерево дрожит. Чудной ты...

— Чего тут понимать?.. Видно... Ничего тебе не видно. Надо еще уметь видеть. Ну, дрожит на ветру, ну и что? Это же не о том. Оно ж, Дерево, не само по себе. Думаешь, увидел дерево и все? Ты ж только кончик один увидел. У Дерева — большой круг. Где-то на звезде что-то начнется, а на Дереве кончится. У зверя не так. Зверь этот большой круг только смутно чует. Он сам живет в малом кругу. Живет в малом, а от

Большого дрожит. А Дерево в большом кругу живет. Потому и не дрожит. Ему за себя не страшно. Страх в нем нет, понимаешь? Нет — страха!

— Понятия нет, потому и страха нет. Дерево ничего не понимает, чего ж ему бояться?

— Это Дерево не понимает? Эх ты, Бернар!

— Кто? Кто?

— Достоевского читал? «Братья Карамазовы»?

— Ну, предположим, не читал.

— И предполагать нечего. Сразу видно, что не читал.

— Ну и что? А кто такой твой Бернар?

— Бернар — это тот, кто не читал Достоевского.

Собутыльник развел руками: — Где уж, нам, дуракам... Зачем ругаться, Тоша?

— Бернар — это тот, кто считает, что Дерево ничего не понимает. — Он помолчал. — Потом взглянул соседу в глаза: — Это ты сам ничего не понимаешь. Ты соловьев когда-нибудь слушал?

— Ну, слушал, — улыбнулся Федя.

— Ты думаешь, почему соловей так заливается? Потому что Дерево рядом. Потому что Оно слушает и понимает. Потому что соловей знает про это.

Антон вдруг откинулся на спинку стула, слегка запрокинул голову и улыбнулся. Почти одними глазами. Очень стройный, подтянутый, с большой шевелюрой и прекрасно вылепленным, мужественным и одновременно детски-открытым лицом. Он как-то совершенно забыл про эту каморку. Точно стены раздвинулись, не стало ни грязных окон, ни потолка над головой... Улыбка, начавшись с одних глаз, осветила все лицо, забрала в себя все невидимое пространство, и вдруг раздалась соловьиная трель. Да какая!

Онемевшие соседи застыли в полном восхищении. Еще минута, и они подхватили бы кто во что горазд — если не соловьем, так дятлом, — все равно всей душой.

Но в глазах у Антона внезапно появилась непереносимая тоска... Волосы свесились на лоб, руки легли на стол, голова упала на руки. Плечи его затряслись. Он беззвучно плакал.

— Ну вот, я и пришел, мать. Как обещал. Сами звали?.. — сказал он с порога с робким полувопросом.

Ольга Алексеевна посмотрела на него в упор мимо всех слов.

Он не отвел глаз. Разделся. Вошел. Нет, не пьяный. Но и не трезвый.

Вдруг увидел Олесину куклу, вздрогнул, как от удара. Опустил глаза.

— Наверно, совсем уже не помнит меня...

— Да что ты, так быстро не забывают.

— Для нее-то уже столько прошло!.. Выросла сильно? — слова шли тяжело, говорил глухо.

— Если позвонишь перед приходом в следующий раз, я тебе ее приведу сюда.

Лицо его осветилось на миг и тотчас погасло. И еще больше нахмурилось.

— Не надо, — процедил он сквозь зубы. И добавил тихо, после затянувшегося молчания: — Это вы знаете, что детям говорить надо. А я не знаю.

— Она пока что не слишком много разговаривает, — так же тихо сказала Ольга Алексеевна.

— Скоро заговорит... И тогда уж мне надо будет учиться разговаривать. Я ведь не умею. Совсе не умею... И не научусь, наверно, — добавил он, чуть погодя. — Я плохой ученик. И то, что вы говорите, никак не усвою.

— А что я говорю?

— Ну, как что? Вы словесница. Вы детей литературе учите. А значит и жизни. Ведь литература про жизнь. Правда? Все писатели как-то знают, что сказать про жизнь и про любовь. И говорят, говорят... Ну, а я не знаю. И что ребенку говорить — не знаю.

Он вдруг улыбнулся своей грустной обаятельной улыбкой, развел руками и прочитал:

Я вас любил, любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем.

Но пусть она вас больше не тревожит,

Я не хочу печалить вас ничем...

Не хочет печалить... Ну, а как он Вяземскому — ему, кажется? — описывал девку, которую «по неосторожности обрюхатил», вы про это рассказываете? Как просил, если мальчик будет, дать ему образование, а если девчонка, так пусть останется крепостной, как мать. Да только ли это было у нашего Пророка? У нашего русского бога...

А Тютчев? «Не верь, не верь поэту, дева...». А кому же верить? Ведь «твоей святыни не нарушит поэта чистая рука»... Ну да, — святыня, совесть... Только одна Цветаева и была честна до конца и написала «Искусство при свете совести». И вышло у нее, что этого света искусство не выдерживает. А душа выдерживает? А?.. Господи, с какой тоской он посмотрел на нее!..

— «Не люблю любви, вернее, всего того, что она со мной делает» — вот это честность. «Не люблю того, что со мной любовь делает» — это мне, что ли, дочке сказать? Если быть честным...

Если только быть им. Так ведь нет же, мне так хочется ей сказать про любовь что-то другое: «Чудное мгновенье...», «святыня красоты». А Цветаева говорит: «мы — сестры в великой низости любви»... Вот и все.

Все другие лгут. Она одна честна. Но нам эта честность не по плечу. Мы измажемся в грязи по уши, и тут же твердим о святыне. Это для нас очень удобная позиция, чтобы говорить о святыне. Для всех. И для вашего любимого Достоевского тоже... Даже особенно.

— Достоевского ты, пожалуй, не трогай.

— Это почему же? Почему для него такое исключение? Неужели чист, совершенно чист автор исповеди Ставрогина?

Ольга Алексеевна вздрогнула.

— Во-первых, не смей путать Достоевского со Ставрогиным, — ответила она. — Ты ведь знаешь, что это для меня, может быть, самые мучительные страницы во всей мировой литературе. Но тот, кто имел силу и мужество их написать, через такой ад прошел, что...

Она запнулась.

— Что, — подхватил Антон, — стал чист, как ангел? Грехи свои сжег?

— Может быть, и не сжег. Но именно это и делал. Да, сжигал, вместе с собою. Себя сжигал, себя не жалел. Снисхождения не просил. Как Раскольников пошел на площадь, так и сам Достоевский. Сила покаяния в нем была такая, что...

Она опять остановилась, и опять Антон подхватил: «Что?»

В голосе его было огромное напряжение.

— Что он выболел, выстрадал себе прощение, — тихо

докончила она фразу.

— Выстрадал прощение? — теперь в его вопросе было уже раздражение, почти злоба.

— Его Боженька по головке погладил и сказал: «Хорошо грешил, хорошо покался.

Иди, детка, играй в раю». Так, что ли?

Антон еще никогда с ней так не разговаривал. Она молча посмотрела ему в глаза. Он первый отвел взгляд.

— Видно, ты и понятия не имеешь о том, что это такое — «выстрадать прощение».

— А что это такое?

— Это другим человеком стать. Вновь родиться.

Антон молчал. Но лицо его на глазах утрачивало напряжение, обмякало, обвисало как-то, точно из него уходила борьба за жизнь — и сама жизнь.

— Не бывает этого, — вяло сказал он. — Этого вообще не бывает.

— Ты думаешь?

— Что такое «другой человек»? Человек — природное существо. Человек должен был бы стать самым умным зверем, а стал самым глупым зверем, — с какой-то тихой тоской сказал он.

— Но ты ведь не можешь быть зверем, Тошенька... Ни самым умным, ни самым глупым. Ведь не можешь?..

— Не могу, — почти шепотом сказал он и прибавил: — Я, может быть, вообще уже не могу быть... Знаете ли вы это?

Она молчала.

— Что же вы молчите, мама?.. Если... если можно еще вас так называть... Скажите что-нибудь...

— Надо, Тошенька.

— Что — надо?

— Быть надо.

Антон сжал виски ладонями.

— А зачем? — поднял он на нее полные сквозной тоски глаза.

Ну да, «зачем, »зачем?»... И что она на него так смотрит? Ну что ей в нем? Господи, разве каждый человек не сам по себе? Разве каждый не вправе распоряжаться собой? Ну, не вышла жизнь, ну, запутался... Так это ж моя жизнь, — думал он и молчал. И она молчала. Да зачем же она так молчит? Вот так, что вынести этого нельзя... Точно это на ее голову он обрушивает все балки своей разваливающейся жизни. Да, на ее голову. Конечно, на ее. Чувствовать это невыносимо. И чего она хочет от него? Ничего. Или уж столько хочет!.. Да может ли он что-нибудь? Ну что, что он может?! Но — раздавить ее он все-таки может... А не раздавить? Это в его власти?

— Ольга Алексеевна... Мать... Я знаете зачем пришел? Я... хотел попросить вас поехать со мной на озеро Сариклен.

— Вот как... Вот чего тебе хочется...

Глаза ее не мигают, темнеют. Вот и слеза выкатилась.

— Может, поедem? — он сказал это тихо-тихо, как будто уйдя в какой-то сон, совсем уйдя из этого дурацкого мира.

— К этим вязам и мне больше всего хочется, — почти так же тихо сказала она.

— Поехать бы!..

— Нет, Тошенька. Не помогут вязы.

— И они не помогут? А я... я только на них и надеялся. О них только и мечтал.

— Да, мечтал... Ну что ж мечтать-то? — вздохнула она. — Мечты и останутся мечтами. Есть вещи, которые никто, даже сам Бог за тебя не сделает. Ни вязы, никто...

— Никто за меня? А я?.. Я сам разве могу что-нибудь? Разве от меня в самом деле зависит хоть что-то?

— Все — от тебя.

— Ольга Алексеевна... — он замолчал. Поднял глаза. — Я не знаю, что я смогу. Я ничего не знаю, но только вы не считайте меня совсем безнадежным.

— Я не считаю. Нет, не считаю... я ведь... люблю тебя.

Он вздрогнул. Потом встал. Взял ее руку. Притронулся к ней губами.

— Я еще приду, мама.

Антон вышел от Ольги Алексеевны поздно и медленно шел по ночной зимней улице. Тихо. Снег поблескивает под фонарями, скрипит под ногами. Очень не хочется торопиться, но так можно опоздать на последнюю электричку. И все-таки, как давно он не видел этого снега, не чувствовал его запаха!.. Тихий какой... Антон подставил ладонь под падающие снежинки. Потом снял шапку, запрокинул голову. И точно почувствовал лбом небо...

«А мы-то торопимся, суетимся, мучаемся. А оно — рядом». Закрыв глаза.

Прислонился спиной к стене. «Рядом, а не войдешь. Рядом, а за семью печатями...»

«От меня в самом деле что-нибудь зависит? Все — от тебя».

Эти слова вставали снова и снова, кружились, как снежинки, около лица и требовали ответа. «Неужели все на самом деле зависит от меня, а не я сам завишу от всего на свете? Да любой ветер, любой смерч налетел и йот вам, Антон Николаевич, ваша бессмертная душа! Поднимут, закрутят и бросят ненужную клетку в бездонную пропасть, в какую-то синюю вечность. А ведь Блок тоже пил. И еще как!» — вспомнил Антон. Но от этого ничуть не стало легче. Наоборот. Еще хуже стало.

От стены отделился человек. Подошел к нему шатающейся походкой. Знакомой походкой.

— Дай прикурить, браток.

— На, закуривай.

— Да погоди, куда ж ты?

Но Антон не оборачивался. Он пошел быстро. Нырнул в метро. И через полчаса уже сидел в электричке.

Почти пустой вагон. А за окном все шел и шел снег. И это было хорошо. Он представил себе, как выйдет из вагона и останется один на один со снегом и с тишиной... И опять подумал, что это хорошо. И вдруг стал вспоминать свою родную мать.

Она давно умерла. Ему тогда пятнадцать было. Если бы она увидела, как ее сынок шатается... Он горько усмехнулся: точно она, деревенская баба, не видела пьяных мужиков? В том-то и дело, что видела. А не надо бы ей...

Мать у него была особенная. Это он знал. Высокая, стройная, очень красивая, строгой, почти иконописной красоты. Она любила носить черный платок, повязывала его как-то по-монашески на лоб. Черный платок, черные длинные брови, а глаза прозрачно-серые в черных ресницах. (У Олеси такие же...)

Что в матери такого особенного было? Он затруднялся сказать. А вот чего не было - это суеты. Ничего лишнего не было. Ничего суетного.

Жили они почти всю жизнь вдвоем. Отца Антон только по портрету, да по материнским рассказам знал. Знал что мать его сильно любила, и он ее тоже. Отец умер когда Антону два года было. Самый страшный день в жизни Антона был, когда умерла мать. Об этом он сейчас вспоминать не хотел. Не мог.

Из деревни они уехали в город, когда он четыре класса закончил. Учитель говорил, что мальчик очень способный, учить надо. А не расставаться же. Вот и стала мать в городе прачкой. Жили у тетки, сестры отца.

Мать... Какая в ней была строгость. Благородство. Полуграмотная, а вот как. И опять подумал Антон, что было бы с нею, если бы увидела она его шатающегося и сползающего по

стенке вниз. Вздрыгнул. Представил ее серые глаза. Ничего больше. Только глаза смотрят.

"Все - от тебя". Ну, если на самом деле все от меня зависит, тогда человек - не природное существо, тогда он другое что-то. Что ж другое-то? Что, мать была не природное существо? Или Ольга Алексеевна? Природное, конечно, но... не только. Он чего-то упорно не мог понять, но и не думать об этом тоже не мог.

Снег идет... Снежинка подлетает к стеклу, расплющивается на нем и вдруг застывает, на миг укалывая своей тишиной и дальностью. На миг приближается к самому лицу какая-то прохладная дальность. Вот еще один укол... И еще... И опять он подумал о том, что небо рядом, а не войдешь, рядом, а за семью печатями. И все-таки рядом, и все-таки мы в него стучимся, а оно - в нас. И это был как бы кончик клубка, который надо размотать - и он приведет куда-то.

Природное существо... Зверь... А стучится ли в зверя небо? Чувствует ли зверь вот эту дальность, эту Бесконечность?..

Н-нет... Антон знал, что нет. У зверя великое чутье на другое. Он опять подумал, что у зверя есть свой малый круг. Зверь - это комочек той же Бесконечности, который она от себя отделила, и он должен расти, но до поры до времени не видеть Ее, - этой

материнской Бесконечности. Оставь зверя одного на берегу Бесконечности, он завоюет. Он будет дрожать от страха. Может, он ее утробой чувствует, а в лицо не узнает.

Антон замер, всматриваясь во что-то в себе. И вдруг понял: человек должен узнать Ее в лицо. Взглянуть и понять - это мое родное небо. Он очень заволновался от этой мысли, потом горько усмехнулся: родное, а не войдешь, родное, а за семью печатями. Так что знай свое место – сказал он сам себе. Прислонился лбом к стеклу и продолжал думать

Зверь прекрасен и счастлив по-своему. Совершенная естественность — это счастье. Но... Антону вспомнился Айтматовский верблюд Каранар во всей своей великолепной мощи. Каранар и его хозяин - Едигей! Что верблюд, что хозяин - оба одной природы. И вот она естественность. «Подымет, закрутит и бросит...» Стихия! Стихия распоряжается нами. Что хочет, то и делает. Хозяйничает и в нашем сердце, как ей вздумается. «Все - от тебя зависит...» Ой, все ли?

Он сморщился, как от застарелой боли, запрокинул голову и крепко стиснул зубы, так что напряглись скулы. И понял вдруг, что если это вправду так, если стихия – госпожа, а мы у нее в подчинении, то нет миру выхода. Некуда уйти от страдания и зла. Боль будет громоздиться на боль, и так пока все не развалится.

Зверь хорош-то, хорош, но нет у него выхода, пока он - зверь, хоть самый распрекрасный на свете. Зверь - это зверство, в природе - естественное. В человеке – противоестественное. Человеческое зверство во сто раз страшнее природного. Но и в природе – зверство. Нет там выхода. Где же он, выход?

«Все – от тебя». Это может, как Толстой в «Крейцеровой сонате?» Обрубить, подавить, оскопить себя? – Антон поморщился, даже скривился. Он всегда не любил эту вещь.

Она казалась ему надуманной и кощунственной. На любовь замахнулся Лев Николаевич. А вы, Антон Николаевич, на любовь не замахнулись? А, Антон? — спросил он сам себя и глубоко вздохнул. Кто он сам? Не то верблюд Каранар, не то Лев Толстой, негодующий на верблюда в себе?

Он провел рукой по лбу. Скоро выходить. Поезд остановился, высадив нескольких одиночек. Ну вот она, снежная тишина. Здравствуй. Хорошо, что ты есть на свете. И чего ты ждешь от меня? Чтобы я тебя в сердце впустил? Господи, ее? ли бы!.. Всю дорогу — снег, деревья, запорошенные дачи. Тишина. А вот и калитка. Он открыл калитку. Она скрипнула. Залаяли собаки. «Ну, ну, ну хватит! Это же Антон при шел,» — раздался мягкий женский голос.

— Не сердитесь, что так поздно, Белла Наумовна?

— Да нет, что ты, я все равно не сплю. И... ты... — он застыла с полувопросом в лице.

— Трезвый, трезвый, — засмеялся он и стал отряхивать снег веником.

— Разогрей чаю.

— Не хочу, ничего не хочу, спокойной ночи. Ложитесь, спите, пожалуйста. А завтра я помогу вам. Я завтра дома останусь.

Он поднялся на второй этаж. В утепленную мансарду которую занимал сейчас. Не стал зажигать свет. Расстели постель. За окном были силуэты деревьев, чуть подсвеченные луной. Снег перестал падать, лежал на ветвях. И ему захотелось лечь на свою раскладушку так же тихо, как снег на ветки. И лежать, и знать, что за окном — это. И лег. И заснул.

* * *

Белла Наумовна Вайс, Белка, как ее звали в их доме, была старой, еще университетской подругой Ольги Алексеевны. Близкой подругой, с которой три четверти жизни вместе прошло. Ольга Алексеевна рассказывала, что в университете Белка была тоненькой хрупкой девочкой с огромными, слегка удивленными и чуть грустными глазами, в которых всегда что-то оставалось на дне, прямо противоположное тому, что было на поверхности: когда глаза радостные, — в глубине - грустинки; когда печальные, то внутри — светятся.

Глаза у нее и сейчас были прекрасные. Так, по крайней мере, казалось Антону. Порой он взглядывал на нее и думал: как она, наверное, зажигала людей в молодости! Впрочем, сколько и сейчас жизни в ее глазах! В ее возрасте — такие глаза!

Белла Наумовна жила за городом вдвоем с внучкой уже тринадцать лет. Маше теперь шестнадцать, а началось это, когда ей было три. Был прекрасный ребенок, даже особо одаренной казалась. Вдруг — первый эпилептический припадок, после которого развитие так и остановилось.

«Схватил коршун мою птичку», — говорила Белла. Схватил, да Белла ему не отдала. Отнять не смогла, но и унести не дала.

Осталась она с внучкой вдвоем. Родители Маши оказались в стороне. У них уже давно был разлад. Сын Беллы Митя успел жениться второй раз на женщине с двумя детьми... У Машиной матери — болезненной и запуганной женщины — отнялись ноги. Она полгода пролежала в доме у своих родителей, потом встала. Ну, а Маша осталась с Беллой.

Все теперь переменялось в Белле. А, может, только теперь и встало на свое, предназначенное еще до рождения, место? Может быть, и так. Ведь недаром она часто говорила: «Я живу хорошо. Я живу лучше, чем раньше».

Да, все переменялось в жизни Беллы... И оказалось, что раньше было столько ненужного!.. Может быть, вот только к этому все и шло — к этой одинокой даче под соснами, где так свободно разрасталось сердце. От чего только сердце не растет! Но, может быть, больше всего оно разрастается от боли... И если разрастается, а не съезживается, то, пожалуй, можно с болью жить хорошо, можно жить лучше, чем раньше...

Чего-чего только не было раньше!.. Общая любимица, обаятельная, талантливая, всем необходимая... Столько друзей, столько возможностей! Вот только главное почему-то все время не осуществлялось, все время откладывалось. Она талантливо видела, талантливо говорила, талантливо писала. Но все еще ничего цельного не было написано. Все время — вместо книги отдельные страницы, разлетающиеся листки.

Она стала переводчицей. Переводила и прозу, и стихи. Работала много, но.... что-то главное все еще было впереди, и все меньше она знала, что же это. Оно было рядом, это главное, но где? Казалось, еще один шаг — и вот оно, покажется, найдется. Но оно не находилось и не находилось.

Ольга Алексеевна помнила, какой неуверенной была Белочка. Скажет одно, а потом тут же вздрогнет: а может, не так? А, может, совсем наоборот?..

Подчас это Ольгу мучило. Какие-то бесплодные сомнения. Из-за пустяков каких-то.

Что-то буксовало, как испорченная пластинка. Белка металась от одного решения к другому, складывала советы и мнения. И все-таки никак не могла сложить все и собрать душу воедино. Что-то постоянно рассыпалось, разбредалось, терялось. Прежде всего — время. Оно было в таком же разбросе, как и ее рукописи... Его всегда не хватало. Оно становилось какой-то враждебной силой и иногда надвигалось лавиной, грозя раздавить ее. И вечно она была перед всеми виновата, и вечно срывала издательские сроки...

Впрочем, сроки она и сейчас срывала. Времени и сейчас не хватало. И все-таки все изменилось. Вся эта война со временем и пространством, весь этот бег по кругу среди неуловимых мелочей, — все это теперь казалось пустяками. И больше не разрывало ее на клочки. Появилось то, главное, то, истинно важное. И оно выстраивалось и собирало душу...

Маленькая женщина взвалила себе гору на плечи и понесла так же просто, как заплечный мешок. Она делала все, что могла, все, что должна была. Остальное — не ей решать.

Хаос по-прежнему окружал ее, но уже не давил. Она от него отмахивалась, над ним вырастала. И уже не оглядывалась на всех тех уверенных, собранных и вечно учивших ее людей. С точки зрения этих разумных, она жила по-юродски, но у нее была своя правда, единственная и несомненная. Эту правду она не выбирала... Это само выбрало ее. Просто она не могла иначе. Оттого-то все и смогла.

«Я живу хорошо, я живу лучше, чем раньше»... Ну, конечно, лучше. Еще бы не лучше! — понимала Ольга. — Тогда она все время готовилась жить. А теперь — живет.

Из московской квартиры пришлось уехать. Тонкие стены новостроек для Машиных криков были не приспособлены. Соседи не выдерживали... Протестовали. Да и Маше за городом было лучше. Гораздо лучше. Вот и утеплила Белла дачу. И поселилась здесь. И стал ее дом настоящим Ноевым ковчегом, на котором ютились все, кому пришлось спасаться от потопа.

Всех она подбирала, всех, кто потерпел крушение. Было тут полно брошенных дачниками собак и одичавших кошек, а рядом с ними — какая-то ворона с перебитым крылом. И даже, к удивлению всех бывавших в доме, — лисица. Но не только звери находили здесь приют. Около двух лет лежал в одной из захламленных комнат нижнего этажа старый, больной раком учитель Белкиного сына Дмитрия, Иван Иванович Садовский. Был он когда-то кумиром детей и гордостью школы. И после его смерти школу с географическим уклоном называли именем этого удивительного энтузиаста. Но на похоронах, во время всех горячих речей, маленькая женщина в валенках и в платке, повязанном по-деревенски, тихо спросила: «А где же вы раньше-то были?» — это была Белла Наумовна Вайс. Он умер у нее на руках. Умер тихо, безропотно. Она не слышала его стонов, не помнила жалоб, просьб. Помнила только огромные глаза, которые горели в темноте заваленной вещами комнаты, и дрожащие руки, которые брали у нее тарелку супа.

Были и другие жильцы в этом доме зимой. Чаще всего — спившиеся самородки или брошенные на произвол судьбы душевнобольные, которых Белла подбирала, как

голодных собак. Люди эти прибывались к дому и снова отбивались... На место одних приходили другие, а иногда дом совсем пустовал. Белка с Машей оставались с одними собаками. И заболеть Белке было нельзя, не полагалось. Когда однажды она себе такое позволила, то лежала с температурой тридцать девять весь день, а потом все-таки встала, приготовила еду для Маши и собак. И, накинув на рубашку пальто, вышла во двор накормить всю собачью свору. Была зимняя ночь с морозцем и яркими звездами. Это она успела заметить, и вот все пропало, провалилось. Она рухнула в двухметровую яму, вырытую еще с лета для каких-то надобностей по ремонту, да так и не закопанную. Очнулась она под чей-то тоненький плач. Ничего не поняла. Подняла голову — наверху крупные звезды и склонившаяся собачья морда. А плакала-то, оказывается, она сама. Только так, в бессознательном состоянии, может быть, и могла она плакать. Все лицо было в слезах. Наверху выла собака. «Что будем делать, дружок?» — сказала она и тут вдруг увидела вмерзшую в яму, с лета же забытую здесь лестницу. По ней и выбралась. А дома ждала ее корчившаяся в припадке Маша.

— Ну что ты, Антон, — сказала Белла Наумовна, рассказав об этом и увидев его застывшее от боли лицо. — Ну бывает, но такое бывает не так уж часто, а вообще-то... «Сейчас скажет, что живет хорошо», — подумал Антон и больно сжал себе пальцы.

Гости в этом доме бывали, но другие, чем в Москве. Совсем другие. Из прежних частым гостем была, может, одна только Ольга. Да и она бывала меньше, много меньше, чем хотела. Приезжала, выкладывала свои кульки и тут же, засучив рукава, принималась за уборку.

— Ну что это такое, присесть не успела! — обижалась Белка. — Я приготовила рыбу с печеной картошкой. Все стынет. И мы еще двух слов не сказали.

Оля не могла ответить ей, что ни есть, ни разговаривать в этом хаосе она не может.

— Тебе... неприятно?.. — вдруг догадывалась Белла. — А я забываю. Ну, что ж я могу сделать?

Лицо у нее при этих словах было такое детски-просто-душное, такое растерянно-обаятельное, что Ольга обнимала и целовала ее, а потом уж принималась за свое.

— Поешь, все равно посуда сейчас испачкается. Потом сразу все и помоем, — беспомощно говорила Белка, указывая на гору грязной посуды, сложенной в проржавевшую раковину, но Ольга уже разгребала завал.

— Оленька, ничего я не успеваю. Меня совсем не хватает на это, вот я и приучилась не замечать...

Белка становилась вдруг похожа на ту прежнюю, растерянную, и у Ольги больно ныло сердце.

— Конечно, когда чисто — это невозможный праздник. Только редки у меня праздники. Для меня чистота — это роскошь. — Как будто я не знаю... Сегодня опять не ложилась?

Белка частенько работала ночами, когда Маша, наконец, засыпала (если засыпала...). Вот тогда-то у нее находились «для тишины четыре стены». Ну, а уж для сна — нет. На перестройку и утепление дачи нужно было очень много. Сын едва справлялся со своей второй семьей. Рассчитывать было не на кого. А работа всегда была. Только бы не вечные торопежки и угрозы срыва издательских планов...

Маша Ольгу знала и любила. Долго после ее приезда она называла женщин, которые ей нравились, «тетя Оля». А если не нравились, говорила: «Нет, это не тетя Оля». Иногда с самого утра начинала повторять «тетя Оля», «тетя Оля» и на все вопросы отвечала только одно: «тетя Оля приехала». Интересно, что почти всегда Ольга действительно приезжала в такой день, и Белка только разводила руками: «Господи, да что ж это такое?! Опять она тебя выкликнула!»

Вот и в это утро с Машиных губ не сходило Олино имя. «Наверное, приедет,» — думала Белка.

Гроыхнула дверь наверху. Антон поднялся. Заскрипела лестница. «Здравствуй, здравствуй, Тоша.» — «Доброе утро»... Утро сегодня и вправду было доброе. Хорошее утро. Как-то спокойно на душе. И Антон спокойный. Даже... непривычно как-то.

— Сейчас я дров наколю, Белла Наумовна. Сарай починю и проведу в ваш сарай электричество, как обещал.

— Ух, как много сразу! Погоди, позавтракаем сначала. У тебя сегодня неприсутственный день?

-Угу.

Белка спрашивала осторожно. Все боялась, что его вот- вот выгонят за пьянство. Сколько таких судеб прошло через ее дом! И всем она не давала умереть с голоду. Но сегодня ей верится, что все так хорошо и есть. Не выгнали. Просто — не присутственный день. Библиотечный, как его называют. «А как же, если вправду Оля сегодня приедет? — промелькнуло у нее в голове.

— До сих пор обходилось как-то, да ведь это почти неестественно, что они здесь не столкнулись». Он просил Ольге не говорить, что здесь живет. Если был дома, Белла его предупреждала: «Сиди, мол, не вылезай». «Еще конспирации мне не хватает, — думала она каждый раз и махала рукой...

— Столкнутся, так столкнутся, я не виновата».

— Да почему надо от Оли прятаться? — как-то спросила она. — Оля ведь все поймет...

— Вот именно, — перебил Антон и до крови закусил губу.

Больше она с ним об этом не говорила.

* * *

«Ах, какой чистый снег и какой запах у этого снега! Не проходит, со вчерашнего вечера не проходит! — с удивлением думает Антон. — Со вчерашнего вечера чувствую запах снега. Только вечером он один, а утром — совсем другой...»

Он стал что-то насвистывать. Сложил поленницу. Огляделся вокруг: сосны чуть-чуть покачивались, стряхивая с ветвей снег. Ствол березы — одного цвета со снегом, а ветки

— черные, длинные, как нескончаемый рассказ. «Рассказывают что-то, рассказывают», — и он застыл, вслушиваясь.

— Какая сегодня картошка вкусная, Белла Наумовна!

— Ему было уютно сидеть в этой захлавленной кухне. Он не замечал хаоса, как и сама хозяйка. А вот лица... Лица перед ним такие милые! «Слегка тревожные, всегда чуть тревожные глаза у Беллы Наумовны, как у человека, который живет между бомбежками», — подумал он.

— Да так оно, в сущности, и есть: на вулкане живет. Но — живет. «Я живу хорошо, я живу лучше, чем раньше.» Покачал головой, посмотрел на Машу. А ведь Машино лицо тоже милое...

— Тетя Оля! Тетя Оля! — повторяла Маша, глядя на Антона.

— Не тетя Оля, а дядя Антон, — сказала Белла Наумовна. Но девочка твердила свое, и Антону это сейчас было приятно.

— Ну, пусть я — тетя Оля.

— Антон, — сказала вдруг девочка и почему-то закивала головой. — Маша петь хочет, — сказала она.

— Скажи: я хочу петь, — потребовала Белла.

— Я хо-чу петь, — по слогам произнесла девочка.

И вдруг — запела, да как хорошо, что у Антона слезы подступили к глазам и застыли в них. Пела она без слов, но верно и чисто, такую простую и глубокую мелодию, что показалось, будто раздвинулись стены, и дом наполнился простором и высотой.

«Господи, до чего же хорошо!» — думал Антон, и показалось ему, что все страшное отснилось, ушло вместе с ночью, а сейчас — утро. Но вдруг песня оборвалась, так внезапно, что Антон вздрогнул. «Маша, Машенька, что ты?» — недоуменно спросил он. Глаза девочки округлились. В них появился ужас. И начался припадок.

«Так все рядом... А пела-то как!» Может быть, никогда не чувствовал и не любил он Беллу Наумовну так, как сейчас. «Наверное, и жива-то Маша только потому, что она с ней делит все — дышит вместе.» И понял он, как это можно — любить Машу до боли, до потери себя. Ведь почти никто не понимает этого. Для них Маша — обыкновенный дебил. «Вот эта птичка Божия — обыкновенный дебил?! О, Господи!..» Но когда спустя три часа после припадка Маша сидела за обеденным столом, лицо у нее было тупое, одутловатое. На нее было неловко смотреть... «Те, у кого сердце не проколото, только это и видят», — подумал Антон. У него самого сейчас сердце было проколото насквозь, казалось, физически кровоточило. А Белла Наумовна говорила о чем-то обыденном, просто и спокойно.

— Белла Наумовна, скажите, — а были вы когда-нибудь счастливы? — вдруг спросил Антон.

Девочка встала и ушла, что-то бормоча себе под нос. Белла проводила ее долгим внимательным взглядом. Помолчала. Антону показалось, что она или не слышала вопроса, или забыла о нем. «Вот и хорошо, — подумал он, — дурак я, что задаю ей такие вопросы». И тут она спокойно сказала:

— Счастлива? Странное это слово. Я думаю, что это слово придуманное. Придумали его те, кто не знает, что такое жизнь. Есть в жизни только достойно вынесенное страдание. А счастье... Что такое счастье? Разве можно быть счастливым рядом с этим? — она кивнула в сторону Маши. — Да только ли это? Разве у нас самое худшее? Помогать, сколько можешь, хотя знаешь, что все равно не сможешь помочь — вот и вся жизнь.

Наверное, она говорила сущую правду, но для чего тогда в окне качались деревья? Для чего деревья, если счастья нет и не может быть на свете? — думал он и вспомнил слова: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?»

«Совсем не была счастлива, — говорил сам с собой Антон. — А ведь два раза замужем была. И ведь когда от первого мужа уходила ко второму, было что-то подобное моей болтанке... Ольга Алексеевна рассказывала об этом. Впрочем, Белла Наумовна решила, выбрала. Такая страстная любовь была. Отец Дмитрия чуть с собой не покончил, заболел, — и это ее не могло остановить. Ее-то — саму доброту и жертвенность?! — он вдруг ужасно удивился и недоуменно посмотрел на Беллу Наумовну.

— А, впрочем, — сказала она внезапно, — может быть, один раз я и была счастлива.

— Когда же это?

— Это... Как тебе сказать... — она замялась. — Это трудно передать. Ничего не было. Совсем ничего. Я проснулась после новогодней ночи, а в комнате елкой свежей пахло, а по полу лучи протянулись и на стене — солнечные зайчики бегали. Два солнечных зайчика. А больше ничего не было.

— Но все-таки с кем вы были? Ведь что-то же было еще?

— Да нет. Именно что ничего больше. С кем? Я тогда еще с Женей была, с Митиным отцом, но он тут ни при чем. И никто ни при чем.

Антон вдруг ужасно заволновался.

— И больше это не повторялось? Никогда?

— Нет. Никогда. Да и это — не знаю, было ли. Пустое это слово — «счастье».

Подумать, ничего не помнит, ни Евгения Петровича Кипарисова, ни своего Гошу, с которым прожила почти десять лет. Мать говорила, что Женя ее не стоил, но хоть любил. А Гоша и любить-то не умел, и что это были за годы! Но все-таки она-то — любила. Неужели совсем все стирается?

Нет, не все. Вот ведь была счастлива нипочему. «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» — опять вспомнил он. Господи! Для целого счастья одного Дерева может быть довольно?

«Тетя Оля, тетя Оля,» — послышалось из другой комнаты сонное бормотание Маши. И тут залаяли собаки, а Белла Наумовна охнула: «Оленька! И вправду Оленька!»

Антон не трогался с места. Белла с опаской посмотрела на него и пошла открывать дверь. Он медленно поднялся. Уже когда Ольга Алексеевна вошла, шагнул ей навстречу. Молча посмотрел на нее. Она застыла. Потом прошептала: «Так вот ты где! Как же я раньше не догадалась!»

А дальше все пошло, как ни в чем не бывало. Точно они здесь постоянно встречались. Ольга привезла капустный пирог. Белкин любимый. «И когда у тебя есть время пироги печь!» — радостно говорила Белла. Она была очень рада, как-то особенно была сегодня рада Ольге. Точно вдруг на минутку в этот дом вошел праздник. Разговор был ни о чем. Но в комнате было ощущение сброшенной тяжести.

И вдруг Белла сказала: «Оленька, вот тут Антон меня спросил, есть ли счастье на свете, а я ответила ему, что нет, что не о счастье нам думать надо. А ты что скажешь?»

— Я не так спросил, — тихо и взволнованно вставил Антон, — но... впрочем, можно спросить и так.

— Ну да, он спросил, была ли я сама счастлива... Оленька, ты ему ответь.

— Что же мне ответить, — была ли ты счастлива? — улыбнулась Ольга.

— Нет, не про меня. Я просто думаю, что это не тот вопрос. Это глупое слово — «счастье». Можно жить хорошо. Когда не до себя. Когда одним состраданием живешь. Это — хорошо.

— Да, это хорошо, — медленно сказала Ольга и глубоко вздохнула.

— Может, это и есть счастье? — спросил Антон.

— Н-нет, — ответила Белла Наумовна. Нет, это — другое. При чем тут счастье?

— А счастье есть? — спросил Антон, уже глядя на одну Ольгу Алексеевну.

— Есть, — тихо, но твердо ответила она.

— Есть? Неужели есть все-таки? — продолжал Антон, не отпуская ее взглядом. — То есть, я вот что хочу спросить: можно ли жить не для себя и быть счастливым?

Ольга молчала, не сводя с него глаз.

— А, мать? — почти прошептал Антон. — Наверное, или быть счастливым, или вот так, как Белла Наумовна..! Хорошо жить... А счастливым жить нехорошо. Нельзя хорошо жить и быть счастливым. Нельзя? Правда, нельзя?

— Можно.

— Как же это? Вот у святых всегда скорбные лица. Говорят, что Христос никогда не смеялся. А улыбался ли? На иконах нет улыбок.

— У святых светящиеся лица, — очень тихо сказала Ольга Алексеевна. — Света без счастья не бывает. Свет — это счастье. Только еще больше, чем счастье.

— И Христос был счастлив? — спросил Антон.

— Христос — Сам Свет... Он — воскресение и Вечная Жизнь.

— Воскресение... Воскресение... — как бы про себя повторил Антон, опустив голову. — Было ли воскресение — это еще вопрос. А вот Распятие точно было. Да и есть по сей день. Можно ли быть счастливым, зная про распятие? — он замолчал, а потом, так же глядя куда-то вниз, продолжал, как бы себе самому: — Вот зверье и птицы счастливы. Так те про Распятие ничего не знают. Впрочем, сами каждую минуту смерть принять могут и все равно ничего про нее не знают: у них все бездумно. А вот мы...

Он поднял глаза и вдруг увидел, что Ольга Алексеевна смертельно побледнела.

— Что с вами? — вскинулся он.

— Ничего, — с трудом выговорила она. — Нам труднее быть счастливыми, чем зверю и птице. Но наше счастье больше. Они только доверяют Вечной Жизни, а мы... мы ее знать можем.

— Знать? Как же это?..

Ольга Алексеевна молчала.

— Вы ее знаете?

— Знаю.

Антон пожал плечами:

— А я не знаю.

— Не знаешь... Не видишь... Ты хочешь, чтобы тебе показали. Тебе воскресенье показать надо, — она посмотрела на него в упор. — Воскресенье — не зрелище... Это внутреннее действие...

Антон вздрогнул:

— Внутреннее действие? Какое? Чье?

Но она не ответила. Просто смотрела на него. И в глазах ее росло что-то такое, что он не мог вместить, но без чего и жить уже не мог больше. И вдруг... О, Господи! Вот так,

точно так было когда-то с его родной матерью, когда он был пятнадцатилетним мальчишкой. Вот так же помертвела она, так же упала на грудь ее голова и не поднялась уже больше никогда.

— Мама!!!

Никакого ответа.

— Мама! Мамочка!

— Я побегу, вызову неотложку, — крикнула Белла.

Веки Ольги Алексеевны вздрогнули.

— Н-не надо, — еле слышно проговорила она. — Ничего не надо.

Глаза открылись. Она взглянула на Антона. Из какого далека!

Но он понял одно: жива!.. Жива. Жива!!!

Больше ему сейчас ничего, ничего не было нужно, вдруг он почувствовал, что и сам жив. Может быть, впервые за все это страшное время почувствовал себя живым... Целым и живым.

Часть II

Ольга Алексеевна Коренева происходила из старинного дворянского рода. Из тех самых дворян, которые остро чувствовали свою вину перед народом. Дед был народовольцем. А отец — Алексей Иванович Коренев — большевиком. Стал им в 1915 году.

Людмила Андреевна — мать Ольги — во всем разделяла взгляды мужа. Но была помладше, и в Ольгином детстве мама была комсомолкой в красной косыночке, под которую она тщательно упрятывала свою великолепную каштановую косу. Редкая красавица, с тонкими аристократическими чертами лица, она красоты своей как-то совсем не замечала и, кажется, и другим замечать не давала. Весь дух семьи был аскетически-религиозен, хотя в Бога никто не верил. Верили в революцию, как в Бога. Оля с детства знала одно: есть что-то высшее, великое, для чего можно и нужно

пожертвовать всем своим личным. И тогда не тебе одной — всем будет хорошо. О себе было думать стыдно. Думать надо о других, обо всем народе, даже обо всех народах. Это Оля всосала с молоком матери. Но родительская уверенность в светлом будущем стала как-то очень скоро шататься. Пожалуй, только в раннем детстве все было безоблачно.

Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Веселому пенью гудка?..

Не спи, вставай, кудрявая...

Оля была уверена, что эта песня обращена прямо к ней. В детстве волосы ее слегка кудрявились. Отец ее так и звал кудрявой. И «кудрявая» вставала, вскакивала весело, звонко, в полной уверенности, что через год-другой на земле всем, всем, всем будет хорошо. Надо только постараться, не жалея себя, а все Кореневы только так и делали.

Но потом началось что-то совсем непонятное. Оле было одиннадцать лет. Шел 1937 год. И вот в их классе у одного, у другого, у пятой, у седьмой арестовывали родителей. А уж в их привилегированном доме! Каждую ночь хозяйничал там «черный ворон». И каждое утро — гробовая тишина и плач, прячущийся и вдруг вырывающийся откуда-то. И этот жуткий шепот: «Андреев-то! — Да, и Винницкий, и Потаповы... Кто бы мог подумать!»... Казалось, враги выныривали из любого угла, могли выскочить из-за школьной доски и из-под парты.

А мама подозвала тогда Олю к себе и сказала: «Ты будь повнимательнее к тем, у кого ЭТО случилось. Ты их зови к нам, играй с ними. Во-первых, доченька, могут быть ошибки. Потом разберутся, и невинные вернуться домой. А даже если не ошибка? В чем виновата Ада Резниченко или Коля Потапов? Ты представляешь, как это ужасно узнать, что твои родители — враги?»

Оля сама об этом думала. Оля представляла... Всю смелость, все благородство маминых слов она оценила только через много лет. Сейчас все было просто естественным. Конечно, это ужас узнать, что твой отец — враг, а то еще и отец, и мать вместе!..

Но вот и в их дверь постучались. И первый раз в жизни Оля почувствовала, что в грудь ее что-то вошло, твердое и ледяное. Одно движение, и — ее разорвет на части. «Папа!» — закричала она каким-то воистину не своим голосом. Алексей Иванович с непривычно подслеповатым, безочковым лицом обернулся к ней, даже успел сказать: «Ты почему не спишь?» — но... неужели это было папино лицо?!

«Папа! Папа! Папочка!» — кричала она, не переставая. А потом — утро, холодная повязка на лбу и мамина рука. И первая мысль: «Мама здесь... Значит, еще можно жить. А как же Ада Резниченко? У нее ведь и папу, и маму...»

Маму оставили. Только исключили из партии за потерю бдительности...

— Мама, это — тот самый социализм, при котором всем должно быть хорошо? — спросила Оля Людмилу Андреевну через три года.

Мама спрятала глаза. А потом вдруг подняла их и честно сказала: «Не знаю, доченька. Я только знаю точно, что папа наш ни в чем не виноват. А, может, и многие другие тоже?»

Похоже было, что мать теперь спрашивает у нее. Но нет, мама не спрашивала. Она только крепко-крепко сдавила пальцами лоб и застонала.

— Мама, а правду говорят, что в деревнях умирали с голоду, и что в колхозах ничего не платят?

— Оленька, не надо об этом думать. Нам с тобой этого не понять. Может быть, это действительно для чего-то нужно, или, вернее, нельзя без этого...

— Но почему? Как? А правда, что при капитализме на Западе живут гораздо богаче?

— Зато у нас войны нет, — как-то неуверенно ответила мама.

Шел сороковой год. Вся Европа воевала. А мы — нет. Наверное, пакт с Гитлером — это была мудрость, но... уж очень от мудрости этой было тошно.

Неожиданный ответ на мучившие ее вопросы Оля нашла в книжке Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Оказывается, все дело и весь смысл в такой вот смене кожи, в том, что человек становится другим и на все готов за это. Ну, и пусть на Западе живут богаче и жертв там меньше. Но ведь там нет этого энтузиазма, этой веры. И выходило так, что энтузиазм и есть цель энтузиазма, а вера — смысл и цель веры. И для этого можно пожертвовать благополучием и даже жизнью. Может быть, папа пал жертвой, как на войне? Вот когда все люди будут другими, тогда все и выяснится. Но... и сам Бруно Ясенский оказался врагом народа. А скоро и последнее преимущество социализма было потеряно: война пришла в Россию. Но тут уже стало некогда думать

и незачем сомневаться. — Война с Гитлером — этим все сказано. И — снова все вместе! Одна народная семья. «А папа? Если бы папа был жив, был бы на фронте, конечно, как и в гражданскую... Если бы... папочка...» Из Москвы уехали в Сибирь. Людмила Андреевна эвакуировалась вместе с заводом, на котором работала. К ним туда же приехала ее сестра с двумя детьми из Ленинграда. Едва выжили в блокаду. Все, что можно было достать, было для них. А Оля была большая и здоровая. Оля все могла вынести. Должна была смочь.

Быт был трудный. Для мирных условий непредставимый. Ну, а кому ж легко? В очередь за хлебом Оля вставала в 4-5 утра. Ну, да ведь все-таки хлеб-то был. Хоть хлеб, а был. Мало? «Пожила бы в Ленинграде, узнала бы тогда...» Зимнее пальтецо Олино выменяли на картошку. Так что и картошка была. А ходила Оля в старой мужской телогрейке, дядиной. Морозы были под пятьдесят градусов. Жили впятером в одной комнате. Но... «Мы еще хорошо живем, — говорила мать. — Другие по деревням в землянках уютятся». Дрова, уголь таскала из подвала на третий этаж; очереди, очереди за водой у колонки, за хлебом, наконец, — за двумя обедами на пятерых. Совсем страшные очереди в подвальной столовой — там и уроки учила. Тетка больна, дети маленькие. Мать — на заводе... Так проучилась девятый и десятый классы. Кончила школу, а к тому времени и мамин завод в Москву возвращаться должен был. А тетя Маша с детьми в Ленинград вернулись...

И — снова вдвоем с матерью. Но это уже другая эра была. Университет, филологический факультет. Война подходит к концу. Победы. Салюты. И эти весны сорок четвертого, сорок пятого годов! Какие это были весны! Олю даже приодели тоща. Мать получила какие-то ордера, отрезы... Но главное, главное была весна в Москве. Эта удивительная легкость во всем теле. Какой легкой казалась ей жизнь после Сибири! Как легко было все успевать! Как мало стало обязанностей! И каждый день — обед в университетской столовой! Правда, после него всегда хотелось съесть еще ровно столько же. Но все-таки — каждый день обед! И можно позволить себе учиться, читать, видеть!

Ее точно подхватывали и носили по воздуху волны счастья. Хотя... Не одно же счастье... Да, собственно, своего счастья и вовсе не было. Себя она ощущала какой-то нелепой, неуклюжей. И места своего в жизни не нашла. Совсем не знала, подходит ли ей филология, и подходит ли она филологии. Не знала, имеет ли она право учиться на филфаке. Она ведь — среднесть, ничего особенного в ней нет. А литературой могли заниматься исключительно гении или таланты. Куда ей!

Все это было так. Когда на нее смотрели, ей хотелось сжаться и спрятаться. Себя она стеснялась, собой была недовольна. Но разве обязательно смотреть на себя и думать о себе? Когда такая весна, разве до себя!?

Весна все просквозила, сквозь все-все — эти волны счастья! Она сама их не замечала. Она думала о чем угодно, но вся светилась и была такой легкой, что казалось — вот сейчас ветер подхватит ее и унесет.

И вот тогда-то и подошел к ней Саша Сокол. И уверенно сказал:

— До чего ж ты счастливая, Олька!

— Я?! — Ольга глубоко удивилась. Он ей завидует?

— Да с чего ты взял?

Саша Сокол, этот необыкновенный Сашка, гордость университета, умница, талант, со своими миндалевидными бархатными глазами... Сашка был единственный студент на их курсе, пришедший уже после ранения доканчивать учебу. Ему пророчили самое блестящее будущее, — конечно, аспирантура, конечно, преподавание здесь же, на факультете. И он всегда с красавицей Леной Виноградовой. Это была пара — загляденье. И вдруг он — ей: «До чего же ты счастливая!». Это ей — самой обыкновенной и незаметной. «Счастливая?.. С чего ты взял?!»

— Как с чего? Ты же все время улыбаешься. На тебя...на тебя все время смотреть хочется...

— Что?!

Ему на нее смотреть хочется!.. Ну, это... это ошибка какая-то...

И тут она вдруг чувствует, понимает, что действительно все время улыбается, что вот и сейчас улыбается... И это, наверное, выглядит очень уж глупо; и как же это она не успела убрать улыбку? Она пытается убрать, но... но у нее ничего не выходит, улыбка не хочет, как будто не может уйти. И все потому, только потому, что за окном — весна. И какая весна!

— Так это же не я. Это — весна, — говорит она уже совсем глупо...

Он смеется. Он покатывается со смеху. Впрочем, очень добро смеется. И предлагает ей билет в консерваторию на Пятую симфонию Чайковского.

Наверно, это ошибка. Такое внимание от Саши Сокола? Она же не Лена Виноградова и не Белка Вайс. «Наверно, просто Лена занята», — думает она и молчит.

— Ну, пойдешь или нет?

— Пойду.

В консерваторию, на Пятую Чайковского. С Сашкой!

Ой...

Так все началось.

В консерватории она бывала часто. Вошла в музыку через Чайковского. И как раз сейчас проживала его Пятую имфонию. Именно проживала. Это была целая жизнь. Когда ступала тема судьбы, Рока, — что-то пересекало и останавливало течение времени. Жизнь готова была остановиться. Остановиться? Или найдется какая-то неведомая сила внутри? Где она, эта сила? Что она? Начинался поиск чего-то самого насущного. Вот... вот оно! Мелькнуло и ушло. Да нет, ничего еще не было. Только — угроза и призыв. Что-то грозит и зовет в одно и то же время. Страшит и притягивает. Это неизбежность. Это то, что тебя не отпустит, хочешь ты или не хочешь. Приблизилось. Глаза в глаза. Вал, подкатывающий к самому сердцу. Сейчас он остановит сердце или... Нет, отступил. Можно еще покружиться в этом удивительном вальсе. Хорошо ведь, как хорошо... И — почти спокойно... И снова Оно. Но... теперь уже душе есть чем ответить Ему. Оно уже не сметет тебя. Нет! Нет! Нет!

Душа не испугалась. Душа приняла вызов. Сила неумолимого вала стала ее собственной силой. Боже мой, какое торжество! Боже мой! Нет страха! Нет Рока! Волна, огромная океанская волна подымается из глубин сердца навстречу жизни. Да! Да! Да! Откуда-то из многовековых неведомых ей тайников души подымалось это «Да!» — жизни. О, Господи!

Когда она очнулась, Саша вытирал ее лицо, подбородок, шею. Вытирал неловко, ладонью, потом догадался взять платок. Она еще всхлипывала, как маленький ребенок. Ей было стыдно. Она не знала, куда деться, но он легонько сжал ей пальцами запястье, и так хорошо посмотрел на нее!.. Так глубоко, так тихо — что она почувствовала, что может опять заплакать. Не заплакала, только посмотрела в ответ всей своей разворошенной, разверстой душой и почувствовала, что верит ему беспредельно. Больше, чем себе. Действительно больше. Себя она, может, и не знала еще. А его... его уже любила.

Да, так вот мгновенно канула в эти глаза, как в воду. Так это началось. А потом... да что потом?..

Она полюбила, а он... он... они оба никак не могли понять, как это называть, — то, что было у него. Считалось, что и он ее любит, только... не так, как она. Бывало, они рядом целый вечер, а он молчит и не смотрит на нее. И так это мучительно, что она говорит: «Ну, я пойду». И тогда он вдруг вскинется и посмотрит тем взглядом. И опять — хорошо им. А то и не вскинется, а так же молча проводит ее до дому. И она,

окаменевшая, войдет в подъезд и проплачет там целый час, прежде чем подняться к себе.

А на следующий день он скажет, что жить без нее не может. Господи, до чего это все было мучительно! И вот тогда-то, через эту свою муку, ей открылась мука всего мира. И утроила, удесятирила ее собственную... Оказывается, все в мире было мукой. И как это она раньше могла жить рядом с этим, не задумываясь? Как?! Почему, почему все всех едят? Как может мир на этом держаться? Почему существуют хищники?! И в человеческом мире!.. Она содрогнулась, вглядываясь во всю эту лавину страдания. Ей показалось, что этому нет конца, что остановить лавину невозможно. И, главное, самое страшное, что никак нельзя не причинять страданий. Вот и она их причиняет. И еще какие! Для всех это так естественно и просто! Люди уверены, что без этого нельзя — и все тут. А с этим можно?!

Она любит Сашу. А ее любит Игорь Плотников. И ничем, ничем она не может помочь Игорю. И чем хуже ей, тем больнее ей за Игоря. И даже в самые прекрасные минуты с Сашей она иногда вздрагивает, вспоминая Игоря, и замирает. Саша не понимает, что с ней, но ему это тяжело. Саше вообще с ней бывает тяжело. Она видит, знает. И он прав, конечно. А она виновата. Она чувствует себя виноватой, по-тому что если в человеке все время все болит, то кому же это понравится? Однажды он сказал ей: «Я тебя за улыбку полюбил. Но не такая уж ты улыбчивая. Интересно, раньше улыбка с лица не сходила. А теперь куда же делась?»

«Он прав, прав,» — думала Оля, но чувствовала себя так, будто она пронзена насквозь... Да, так мог бы себя чувствовать живой жук на булавке. Почему-то живой... «Может быть, и живет для того, чтобы чувствовать эту булавку, — думала она иногда, — для чего-то это все-таки надо». Она пыталась улыбнуться и — плакала.

А потом была Органная месса Баха. Это было через год или полтора после той Пятой Чайковского. Они часто ходили в консерваторию. Чего только не было переслушано. Но между той Пятой и мессой Баха целая жизнь прошла.

Все теперь было иначе. Теперь она уже не билась в рыданиях, не теряла ощущения собственного тела. Все было иначе. Не слабее, нет, может, еще сильнее, чем тогда, но — иначе.

В первый раз в жизни она тогда почувствовала ТО. То, чего не передашь словами, сколько бы ни говорить. Все слова будут около Того, а Само оно... Наверное, это было Счастье само по себе, счастье, которое ни от кого и ни от чего не зависит; Счастье, которое способно вынести всю боль на свете, которое потому только и существует, что оно больше боли, что оно ее обнимает, как море остров.

Она почувствовала себя в пустыне. Никого. Ничего вокруг. И помощи ждать неоткуда. Извне никто не поможет. Но вместо страха и отчаянья изнутри поднималась огромная волна торжества. Помощь была в ней самой. Дух, до глубин которого дорылась, докопалась музыка, был неисчерпаемо, непредставимо могуч. Точно все мироздание со всеми морями и звездами собралось здесь, в ее груди. Грудь расширилась и углубилась до какого-то нового измерения.

Саша был рядом, как и раньше. Но когда взгляды встретились, он опустил глаза. Потом поцеловал ее руку. А потом на улице, под падающим снегом она шла и чувствовала, что счастье не зависит от того, любит ее Саша или нет. Совсем не зависит. И она улыбнулась так просто и светло, что он изумился: «Какая ты сейчас!» И — невозможно было расстаться. И так сошлись все обстоятельства, что они и не расстались в эту ночь. И показалось, что никогда они не расстанутся.

Но уже через два дня в сердце вошла и заняла свое место прежняя невыносимая боль. Она снова чувствовала, что Саше трудно с нею, может быть, еще труднее, чем раньше. И То ни во что не вмещавшееся счастье вдруг скрылось, провалилось; потом опять сверкнуло, как солнце из-за туч. Почудилось, поверилось, что оно разгонит все тучи, что сейчас вот воссияет какое-то незаходящее солнце. Но зашло это солнце. Снова зашло. Счастье превратилось в затерянный в море остров, а Боль — в море.

Олю лихорадило, знобило. Она ни в чем не обвиняла

Сашу, чувствовала, что он тут в себе не волен, что он не может быть другим. Не может - и все. Какой-то струной сердца - и, может быть, самой главной - он любит ее. Но быть с нею весь, совсем, не может.

То - она цель и смысл его жизни, то - любое дело, любые отношения, даже с заболевшей собакой из студенческого общежития важнее, осязательнее и необходимее ему, чем она. Сколько раз он опаздывал на свидания из-за того, что помогал приятелю писать курсовую или какую там еще работу. Или не мог прервать начавшегося и нужного не ему разговора. Спихватывался, был в ужасе, просил у Оли прощения, а иногда, впрочем, и ее обвинял в непонимании. «Я ведь не для себя, Оленька». Один раз заставил ее два часа прождать на Крымском мосту, потому что... Да мало ли почему?..

Все было уважительной причиной - все, что отвлекало от глубины и напряженности их отношений...

И тут Оля сказала, что - все, что больше она так не может. Что она не ушла с моста только потому, что очень беспокоилась и положила себе дождаться здесь какого-то решения Своего собственного. И решила: им надо расстаться.

Саша был поражен. То есть он был в ужасе от того, что заставил ее ждать, но он как-то так не понял, не сопоставил, не рассчитал, и чтобы из-за этого расстаться?! Да ведь они муж и жена: Да ведь вот он сейчас защитится, получит распределение и квартиру - и все. Они могут быть вместе, будут вместе! Не может быть, чтобы она это серьезно сказала?! Оля, Оленька...

И — снова нет на свете человека лучшего, чем Саша.

Нет и не может быть. И нельзя им врозь. И - вместе тоже нельзя.

Однажды в дождливый промозглый вечер, уже после того как он проводил ее, она вышла из подъезда на улицу и побрела одна по ночной Москве. Остановилась на том же Крымском мосту. Дождь усилился. И никуда, никуда прятаться от этого дождя она не хотела. Промокла до нитки, продрогла до костей. Дрожала и плакала, плакала и дрожала. И понимала, что это ее судьба, что так оно и нужно - вот так плакать и дрожать, потому что весь мир на ветру на всех ветрах. И надо продрогнуть и наплакаться со всем миром, и только это и даст право быть. Потому что разве у нее есть это право? Для чего она? Что она? Как до браться до той глубины и мощи, приоткрытой органом и снова скрывшейся в океане боли. Как?

А что было с бедной мамой, когда она пришла домой! Что было с мамой... Со всем миром плакала, а родную мать заставила плакать и метаться в одиночестве... «Мамочка, ты... ты так беспокоилась?.. Прости, прости меня...» И тут она сказала, что с Сашей расстанется, что она должна быть одна Так решила и так будет.

Ничего не поняла Людмила Андреевна из ее рассказа, но что дочке плохо - поняла. Да не просто плохо, что тут что-то особое, что девочку надо спасать. И она горы свернула. Добилась академического отпуска для Оли. А ведь Оля, волевая, беспредельно требовательная к себе Оля, действительно мечтала только освободиться от всего, от всех обязанностей, прервать эту непрерывность жизни. Мечтала, но считала что это невозможно, что и заикаться стыдно. И вдруг – мать сама все поняла, все сделала, и достала для Оли путевку в пансионат на Озеро Сариклен.

У Озеро Сариклен... Неподвижная синева, налитая в чашу из зеленых холмов. Неподвижный глаз, глядящий из-под ресниц огромных ветвистых вязов.

Чувство глаза, глядящего в тебя, пронзило, пересекло ее с первого же мига. Этот взгляд требовал ответного взгляда. От него нельзя было укрыться. Рядом было огромное живое молчание. То что Оно живое, было несомненно. Присутствие великой иномасштабной жизни было гораздо реальнее легкого утреннего холодка или отдаленных голосов, доносящихся из пансионата. Все это ближнее, отдельное,

таяло, как облака в небе, как тени, и проходило. А приближалось, подступало к лицу, к горлу, к сердцу — непреходящее.

И вдруг стало видимым и внятнм наивное самодовольство всех этих бесчисленных существ, которые думали, что они живут сами по себе, отдельно. Они были лишь мигами, лишь жестами, лишь всплесками этого . Оно включало в Себя все. И только Оно и было. А все остальное — лишь постольку, поскольку оно было в Нем. Выпасть из Него — значит не быть. Этот взгляд... Он нацелился в нее. И не отпускал. И она должна была идти, идти и идти навстречу Ему, все дальше и дальше, дойти до совершенно безлюдного места и остановиться, точно ей, наконец сказали: здесь! Дальше ни шагу!

Ах, какие здесь были деревья! Какие деревья! Вязы, дубы, липы, сосны. Огромные, совершенные деревья, которым ничто не мешало Быть, быть в полную свою силу. Они были и учили душу Бытию. Душа замерла. И стала учиться.

Прежде всего деревья потребовали, чтобы она забыла все, что знала. И она стала забывать. Каждый день она приходила сюда на то же самое место, садилась под огромными деревьями и забывала, забывала... Все забывала. И как же это было хорошо!.. Она стремилась сюда каждый день. Так, как, может быть, не стремилась ни на одно свидание (а уж как она спешила еще недавно к Саше!). Она приходила и садилась. И забывала. Пока, наконец, не забыла всего, пока не превратилась в чистую доску, в белый лист бумаги, на котором ничего не было написано. Она была ничем. Ее — не было.

И тогда начало проступать ТО, ЧТО БЫЛО. И это было так огромно, так несоизмеримо ни с чем, что она видела, слышала, представляла себе раньше, что она задохнулась. Ей показалось, что она не выдержит этого.

Как будто тот взгляд, с первого дня на озере позвавший ее куда-то вглубь, вдруг остановился на ней и сказал: вот здесь! Вот это! Что она почувствовала? Ей казалось, что никогда, никогда не сможет она этого передать, но это была любовь к ней, такая, какую она не встречала еще ни в ком. Даже в матери было любви меньше — или просто она была совсем иной. Эта любовь была предельной силы, и в то же время в ней был покой.

Именно сочетание, скрещение предельной любви и совершенного покоя было так поразительно и так необходимо!

Если бы один покой без любви, было бы равнодушие. Если бы одна любовь без покоя, не было бы всемогущества любви. Но оно было! Любовь эта была всемогуща и потому так спокойна!..

Господи, мыслимо ли это — быть таким спокойным в этом море страданий, когда так любишь?! Мыслимо ли это? Кто может ответить на этот вопрос? Никто. Но Ольга увидела ответ. Она увидела лицо. Живое, реальное, никогда раньше не виденное Лицо. Ничего, ничего не знала она об этом Лице, никогда не могла представить Его себе. И вот — Оно было перед ней.

Нет, не перед физическими глазами. Но от этого Оно было не менее, а более реальным. Его увидела вся душа. Физический глаз видел то, что ему положено видеть, что он может охватить: озеро, небо, деревья... Но оказывается — все, что предстает нашим глазам, не завершается само в себе. Все это лишь штрихи и черточки, бесконечные штрихи, которые складываются в единое Лицо. У мира есть Лицо! И это лицо она увидела. Не случайные нагромождения предметов, не хаос, не бессмыслица, а полное великого Смысла Лицо, в котором была любовь и жизнь.

Любовь без капли страха.

Жизнь без капли смерти.

Это Лицо... Боже мой! Как долго глядело оно на нее, на Ольгу Кореневу! А она не видела, не видела, не видела!

И ведь Оно глядит на всех. В каждую душу глядит. Каждый листик жив Его дыханием. Каждое облако движется Его дуновением, каждый луч солнечный начинается от него, исходит от этого Лица!

Как же она раньше не знала этого?! Как? И-никто не знает? Никто не видит?!

Ну да, мы смотрим в зеркало, мы ищем наших отражений вовне. А Лицо это не отражается в зеркалах.

Оно восходит изнутри.

Оля вернулась домой, в их с матерью комнату, давно не отремонтированную, с вытертыми обоями и вытертым плюшем на диване, с большим, прижатым к окну письменным столом, на котором стоял папин чернильный прибор с бронзовым орлом и папина фотография. И мама, мама, самая дорогая из всех людей в мире. Оля ее точно заново увидела. Но какая она была худая, какая изможденная!.. Оказывается, она заболела через три дня после Олиного отъезда, и если бы не Саша, не знала бы, что и было бы с ней. Да, Саша ее прямо-таки спас. Пришел узнать, нет ли новостей от Ольги (ему она не писала) и увидел Людмилу Андреевну в жару. Совершенно беспомощную. «Он меня просто выходил, — сказала мать. — Продуктов принес, сготовил, в аптеку ходил. Две ночи даже ночевал здесь, пока мне лучше не стало. И потом каждый день приходил. Оля, это золотой человек...»

Оля была очень взволнована.

— Я никогда, никогда не забуду ему этого, мамочка... Никогда, — прибавила она и замолчала. И потом, после долгой паузы, сказала: — Но я все-таки буду одна, мамочка. Я иначе не могу.

На другой день Оля сказала матери, что у нее будет ребенок...

Только — матери. Саше — ни слова. С Сашей встретилась просто. Горячо поблагодарила за мать.

— Она у тебя славная, — ответил он. — И очень деликатная.

— Да, очень.

Вечером он пришел к ним домой. Ужинали втроем, долго разговаривали. Но идти в общежитие Оля отказалась, хотя Саша в комнате был один, ребята уехали.

— Мне надо поговорить с тобой, но это потом, — уклончиво сказала она.

— А о чем? — Саша встревожился. Стал говорить, что у него сейчас вот-вот защита, очень напряженное время. — Вот получу распределение, будем вместе уже совсем, а пока...

— А пока — у меня «хвосты», — очень спокойно сказала Оля. — Мне надо сдавать, тебе защищаться. Нам обоим некогда.

Саша слегка растерянно согласился с ее резонами. А жизнь шла своим чередом. Все было как всегда, — и совсем не так. Но явилось удивительное внутреннее спокойствие. Вот уж чего не было у Оли раньше! Было вечное смятение и почти такое же чувство вины перед всеми, как у Белки Вайс. Нет, не такое, - другое. Белка не знала, так ли она поступает. Оля - так ли чувствует? Белкино смятение выплескивалось наружу. Олино — молча разрывало душу.

Можно ли не причинять никому боли? Можно ли любить всех? Эти вопросы мучили Олю с детства. Был у них во дворе мальчик. Мальчик как мальчик, ничего особенного. Только Оле он не нравился, очень не нравился. Нипочему. Просто так. И она играть с ним не хотела. Пятилетняя девочка презирала пятилетнего мальчика безо всякой причины. И вот однажды она увидела его красные, всегда воспаленные и немного недоуменные глаза и вдруг ее точно пронзило: а ведь у него есть мама и папа! То есть - кому-то он так дорог, а вот она смеет просто так, нипочему - «Не нравится»...

Оля заплакала и запомнила это на всю жизнь. И уже не могла больше, никогда не могла просто так, «нипочему» оттолкнуть. С тех пор для того, чтобы ей не

понравиться, надо было очень сильно постараться. Как-то само собой вышло, что она чувствовала за каждую маму и каждого папу... Да, как-то так вышло... И это оказалось трудно. Почти невыносимо. Обидеть - невозможно. Но ведь и не обидеть подчас тоже невозможно.

Так это и длилось с пяти лет. И вот в девятнадцать - Игорь Плотников. Ничем не виноватый Игорь и ничем не виноватая она. А глаза его видеть было невозможно.

И вдруг — стало возможно. Теперь, после этого, она спокойно встретилась с Игорем, и на его напряженный, прячущийся и выглядывающий из тайника взгляд ответила своим - ясным и открытым. Игорь истолковал этот взгляд по-своему. Надеяться стал.

«Оля, меня как-то раз спросили, — сказал он ей, - бывал ли я когда-нибудь счастлив? Так вот, Оля, я сказал что не знаю, что это такое. А увидев тебя, понял, что могу быть счастлив только с тобой. Да... Оля? Оленька... да?»

У Оли слезы подступили к глазам и она ответила: «Нет, Игорь. - И, помолчав, прибавила: - Я могла бы сказать "да", но совсем не так, как ты думаешь. Поэтому тебе понятней будет, если я скажу "нет"».

Господи, как он помрачнел! Но больше от нее уже ничего не зависело. И она это теперь спокойно знала: нельзя взять на себя больше, чем тебе положено. Нельзя сделать что-то за другого человека. Он сам должен... Что должен? Но ведь То Лицо — это ведь не Олина собственность. Не на одну Олю глядит Оно. Ведь Оно на Игоря тоже глядит. Что же он не видит?... Совсем, совсем не видит... И не попытается? Зачем он ищет судьбу свою только в Олиных глазах? Ведь То... Оно не отражается ни в чьих глазах, а восходит изнутри. И... Оля знает, Оля уверена в этом — если бы Игорь искал, он нашел бы То, и очи бы не могли не встретиться. В Том все со всеми встречаются. А человеку надо только убрать пелену с глаз, вот и откроется То...

«Только убрать пелену с глаз»... — Попробуй рассказать об этом Игорю! Да и любому человеку! Раньше Оле нечего было сказать, вот она и прятала глаза. Теперь ей есть что сказать, есть чем ответить на любой взгляд. Но попробуй, скажи... Она, может быть, перешла целую бездну — между собой и Тем... То стало близким, как собственное сердце. Но вот теперь перед ней другая бездна — между человеком и человеком. Какая даль между всеми людьми! Как беспомощны слова! Как бессильны!

А что она скажет Саше?..

Она все чаще избегала встреч. А однажды, когда избежать было нельзя, посмотрела на него в упор тем самым новым своим сквозным взглядом.

Саша опустил глаза. Молчание стало тягостным, неловким. «Ну, я пойду», — сказала Оля. И ушла, бросив повелительное: «Не провожай! Мне сейчас так надо».

Шел сорок девятый год. Саша защитился с блеском. Но вместо аспирантуры его ждал арест. Все сошлось — и любимый ученик профессора-космополита, и сын репрессированных родителей.

Саша был детдомовцем. Родителей арестовали в тридцать седьмом. Обоих. Больше он их не видел. А в сорок девятом подбирали ненадежных детей. Если бы только как «сына», может, дали бы ссылку... Но он еще космополит, ученик космополита...

Все это случилось совершенно внезапно. Так и не узнал Саша, что через четыре месяца должен был стать отцом.

И начались передачи, посылки. И родилась Катя. А через полгода после родов Оля защищала диплом. И на все, на все хватало сил. Конечно, рядом была тогда мама. Каждый раз, когда Ольга вспоминала мать, кажется, что кто-то брал в руки ее сердце. И стучало это сердце где-то отдельно от тела, от всей прочей жизни. И вот — снова входило в тело. И — жизнь шла дальше...

Да, судьба как судьба. Как у многих ее современниц. Средняя судьба. Но только после того, что было на Сариклене, душа как-то отделилась от судьбы. Не терялась, не растворялась в ней. Не пугалась судьбы. Страх пропал. И отчаяние стало невозможным. Она знала, что с самым главным ничего, ничего случиться не может. Оно — вне случая, вне судьбы.

Как-то ей позвонила Белка Вайс. Голос у нее срывался... Она рыдала, просила Олю немедленно прийти: «Мама умирает!» - крикнула она в телефон и повесила трубку.

Ольга сейчас же побежала к ней: просидели всю ночь вместе с Белкой около Белкиной матери. Отходили ее. Не умерла тогда Анна Абрамовна. Было у нее жесточайшее отравление. Всю ночь Оля вместе с Белкой меняли простыни, выносили тазы. И было одно чувство: все, все, что нужно — сделать, но не отчаиваться! Нельзя отчаиваться!

Ничего такого она не говорила вслух. Она просто была рядом с Белкой. Совсем рядом. Все приняла. Все разделила — и не отчаивалась.

Белка говорила потом, что это Олино спокойствие при таком полном участии как-то ошеломяло ее, и это ошеломление было ей тогда нужнее всего на свете. Она долго вспоминала эту совместную ночь у маминой постели. «Знаешь, Оленька, я тогда чему-то научилась», — сказала она однажды, много лет спустя.

Да, сил в те поры хватало на все. И все-таки иногда они иссякали. И тогда Ольга бросала вдруг все свои дела и — останавливалась. Все затихало. И постепенно где-то ясно внутри, и оттуда проступали вдруг огромные сарикленские вязы. Или сосны. Сосны она любила больше всех деревьев. Но на Сариклене царили вязы. Несокрушимо спокойные, они свешивались над водой и беззвучно поили душу покоем и силой. Они просто соединялись с душой в одно. И тогда душа все могла.

Они делили с ней всю тяжесть, принимали на себя львиную долю. Вязы и сосны, и Озеро... Она отдавала им бремя жизни, и вот снова все было просто, все — по силам.

Несколько минут молчания, и они вставали со дна души.

Если бы можно было поехать к ним! Но это теперь уже было невозможно, совсем невозможно. Было только Окно. Великий простор за окном. Огромное небо. Пока душа разделяет тяжесть судьбы со всем простором, она выдержит...

Не оторваться бы листку от ветки, ветке от Дерева... от Ствола... Пока есть Связь, — есть жизнь. Связь... Эта невидимая Связь была внутри, проходила через сердце.

Только бы погрузиться внутрь, и вот — провалишься в Небо. Вокруг будет одно Небо, и душа будет плыть и плыть в нем. Только здесь, в небе, которое одно на всех, и восстанавливается связь всего со всем. На земле — все плотное, отдельное. На небе — воздушное, единое... На земле иногда и вовсе нечем дышать. Но дышим-то мы все-таки небом...

Да, дышать на земле нелегко: работа в школе, литература в старших классах... тетради, тетради... Нагрузка непосильная. Прокормить семью трудно. Едва сводятся концы с концами. Маленькая Катя. Посылки в лагерь. И мама все чаще болеет, уже ушла с работы. Оля зарабатывает одна. И все-таки, пока мама была рядом, все, все — еще ничего. Но вот мамина болезнь. Та, роковая, последняя. Этот день, когда врач рубанул Оле наотмашь: рак, неоперабельный. Метастазы. Надежд нет.

Вот тогда единственный раз Оля не сумела сдержаться, не могла загнать слез внутрь, и только твердила маме про то, что ее напрасно измучили в очереди, что ничего у нее не нашли, что врач очень груб... Мало ли что она говорила... Верила ей мать или нет? Не все ли равно? Мать думала о ней, об Оле, а не о себе. Каждая из них думала о другой — но где, где, где было взять сил?!

Они жили недалеко от церкви. Однажды Оля спешила домой, шла мимо церкви — и вдруг до нее донеслось из открытых дверей пение. И она — зашла.

Слезы ее текли по лицу, как воск по свечам, горевшим около большой иконы Богородицы. Текли и текли. И думала потом Оля, что все слезы текут в одно море, и

все свечи и деревья воздымаются в одно и то же небо. Воздымаются... Слово это само возникло, выдохнулось из груди. И она почувствовала, что вот только это, эта остановка, пауза, в которой происходит какое-то иное движение, и есть главное. Только это Иное движение и может остановить мировую лавину, катящуюся неизвестно куда...

И она плакала и плакала. И в душе ее пел и пел церковный хор. И душа вместе с ним уходила вверх туда, под самый купол, и возвращалась внутрь всем потоком накопившихся в ней слез...

«Отче наш, иже еси на небесех... Отче наш»...

«Мама, мамочка! Неужели ничего, ничего уже нельзя сделать?»

Матери немногим больше пятидесяти. Оля чудом каким-то достала лекарство, снимающее интоксикацию. Удалось уменьшить муки и даже продлить жизнь почти на целый год. И как она жила с ней этот год! Точно Оля отдавала ей свой неоплатный долг. Мать когда-то вынашивала ее в себе. Теперь Оля вынашивала в себе свою мать. Не было отчаянья. Была только великая, не вмещавшаяся в груди любовь, все время возвращавшаяся куда-то внутрь, к собственному истоку...

Мать умерла на ее руках. Матери не было. Осталась одна любовь.. Все разраставшаяся любовь. Как закатное зарево на небе...

На похоронах собралось много народу, и точно разверзлись у людей сердца. Точно вот пришли люди, и вошли внутрь себя, и не выходят. И вот она — связь всех со всеми. И это — торжество. В такой боли — торжество... Это была Тайна. Это было — Таинство.

Конечно, потом все у всех вернулось на круги своя. Но это — было.

* * *

До чего же хороша была Катя в те первые дни! До чего же хороша!

Тростиночка, стебелечек с этими продолговатыми миндалевидными глазами с янтарным подсветом. И глаза, и чудные ее каштановые волосы были с янтарным подсветом. «Янтарек ты мой», — говорил он ей, задыхаясь от счастья. Поначалу он только смотрел и смотрел на нее, как можно смотреть на цветок или диковинную

бабочку... Как-то удивительно бескорыстно смотрел, точно этого одного глядения ему было достаточно. Насмотреться бы, а больше ничего и не нужно. И вдруг заметил, что она в ответ смотрит на него. Чуть-чуть прищурилась так, что лукавые янтаринки задрожали в глазах, и — смотрит.

Взгляды их встретились, и они засмеялись, точно поймали друг друга. И поймали. И уж ни за что не хотели отпускать. Как раньше не насыщались глаза, так теперь не разжимались руки, и губы отрывались, кажется, только для того, чтобы дышать. «Ах, янтарек ты мой, драгоценный мой камушек, золотая рыбка»...

Когда это начало пропадать? Куда делось? По какому это злему волшебству золотая рыбка со всеми своими переливами, с этими легкими грациозными движениями начала превращаться в деловую женщину с быстрой, четко отбивающей такт походкой?.. И голос, голос... Куда делись прежние интонации? Эти дрожащие серебряные нотки в голосе? Да нет, они не ушли совсем. Вдруг прозвенят, как прежде. И тогда не верится, что они — исчезали. Весь этот чужой тон кажется наваждением, которое прошло и не повторится больше... Но это повторялось. И — все чаще.

Так когда все-таки это началось? Однажды они были на лесной опушке, легли на стог сена и целовались. Потом затихли и лежа рядом, бок о бок, с переплетенными пальцами рук стали глядеть в небо. И вдруг ему показалось, что его нет.

Да, все было — небо, медленно плывущие облака, запах сена, качающиеся ветки берез, первая звезда, замерцавшая над елью, а его — не было. Хотя он был больше, чем когда-нибудь. Границ, что ли, не было?.. Это было вполне подобно тому, как с Катей в самые глубокие минуты, когда непонятно было, где он, где она. А сейчас вот так же было со всем миром.

Он очнулся от того, что Катя сжала его плечи, трясла их и очень встревоженно говорила: «Антон! Антошенька! Тошенька! Что с тобой?»

— Как что со мной?.. То же, что с тобой, с нами... — он гладил ее руку, целовал ладошку.. - Разве мы не вместе были сейчас?

У Кати были испуганные, расширенные глаза. «Мне показалось, - сказала она, - что ты вообще пропал, сознание потерял, что ли...»

«Неужели она сейчас была так далеко от меня?.. Совсем рядом и так далеко... Значит, могут быть такие несовпадения?»

Но ее милое встревоженное лицо, ее слезы. Он целовал эти слезы..

— Ты не уходи, — всхлипывала она. — Ты должен всегда быть со мной.

— С тобой, с тобой, куда же я от тебя денусь? — засмеялся он. — «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама». Да?

— Да... Конечно, да. Пусть всегда будем ты и я.

Он смеялся и очень ее любил. Но, кажется, вот тогда в первый раз было чувство, что чего-то ей нельзя объяснить... Чего-то очень простого и... бесконечно важного.

Потом это чувство стало повторяться. И стало заметно, что они не всегда вместе. (Неужели это и раньше было, а только он не замечал?). То - вместе, почти одно существо, — а то совсем нет... совсем не одно.

Раньше он чувствовал ее такой легкой, такой окрыленной!.. И эта ее окрыленность была для него как собственные крылья за плечами. Только увидеть ее, встретиться с ней взглядом и — лети! Но... куда стала деваться эта легкость?.. Казалось, она ничего не знала про страх — вот так, как про него не знает солнечный луч или летний ветер.

Но, оказывается, она знала. Оказывается, она была скроена из обыкновенной земной материи, а не той, «из которой хлопя шьют». /Б.Пастернак/.

— Ну, что же, из земной так из земной. И нечего было придумывать ее. Такая, как есть, тоже ведь хороша, - говорил он себе. И все-таки... «Ну, чего ты все время тревожишься, Катенок?» Действительно, она постоянно чем-то была обеспокоена, как пловец, который, ступив в воду, все время ощупывает под ногами дно, боится оторваться. Жизнь для нее вечно была полна каких-то подвохов, непредвиденностей, от которых надо уметь защититься. Он беззлобно подсмеивался над этим, но иногда ему вдруг становилось грустно .

И эта дрожь янтаринки в глазах... Раньше казалось, что она ведет в Неведомое, в то, что без дна. Но оказывается, Катя этого Неведомого все время боится...

Себя самой боится, что ли?.. Или... всю этого? - Антон взглянул в окно. Сел на подоконник, лицом к комнате, спиной к окну. И откинулся. Свесил голову вниз.

- Ант-он! — раздался неистовый крик Кати.

- Ну, чего? Чего? Неужели я из окна выброшусь? Ведь не с чего, Катюша.

Но ведь ты можешь не рассчитать, можно не удержаться!

- Можно... Можно, все можно, конечно. И все-таки нельзя так кричать. Ну, не сердись... Я испугал тебя? Ну прости. Катенок.

«Конечно, он виноват. Кто ж так перекидывается с подоконника на глазах у любящей жены? Конечно, не подумал и не додумал. Да он вообще не думал. Вот она и говорит,

что он слишком мало думает. А она не слишком ли много? И думает, и действует... Она как будто бы боится пауз, боится остановки... И как-то странно это... Ну, чего же тут бояться? А вот так говорить – не боится?»

У Кати все чаще появлялись властные интонации, командный голос. Интересно, чем больше было в ней внутренней неуверенности, тем более уверенной и властной она становилась. Антону хотелось где-то прибавить ей уверенности, а где-то отбавить. Сильно отбавить.

Но он все чаще чувствовал, что ничего не может сделать. И - смиряя. И все ждал чего-то, что само вдруг придет.

Любовь была. Никуда не уходила она. Но она уже не была чудом. Чудо куда-то делось. И было чувство, что оно недалеко, может быть, за углом. Вот сейчас выйдем и – вернем.

Но... он не шевелился. Он вообще стал ленив. Катя все чаще обвиняла его в этом. Сама она отнюдь не ленилась. Вот чего не было, того не было. Ее энергии, блеску и живости ее ума, быстроте ее рук он мог бы позавидовать. Но он не завидовал. А все чего-то ждал. Иногда Катя просто из себя выходила! Такая инертность при таких способностях!

Способности у Антона были и вправду недюжинные. Но как истинный русский богатырь он все не знал, куда их приложить. Ни к чему особому он, казалось, не был призван. Или — ко множеству вещей сразу. После школы не знал, куда поступать. Думал о живописи, об архитектуре. Но пошел вместе с другом болеть за него, когда тот подавал на физтех. И вдруг подал документы сам, на спор, что выдержит безо всякой подготовки. И выдержал. Вовсе не думал там учиться, но уж раз выдержал, то и остался. Сначала порывался перейти в архитектурный, потом втянулся. Физика так физика...

Работал он также с лентой и вразвалку. Но вдруг как-то так, походя, решал уравнения, над которыми лаборатория билась месяцами. Так же походя ("черт его знает, как") сделал какое-то важное открытие. Потому-то его и терпели, и спускали ему то, чего бы никому не спустили. А как было не спускать?..

Кажется, меньше всех спускала Катя. Он только морщился в ответ. Только грустнел. А однажды взял лист бумаги и стал рисовать ее, в тот самый момент, когда она его распекала. Катя раскрыла рот, растерянно замолчала, захлопала глазами и застыла, не зная, что ей делать — оскорбиться или махнуть рукой. И вдруг она рассмеялась, и всю ее деловую правоту как рукой сняло. Перед ним была прежняя Катя. На рисунке она

выглядывала сама из себя, как птенец из яйца, — деловая Катя, знающая «как надо», из той дорогой очаровательной девочки, которую он так любил.

Нет, очарование ее вовсе не исчезло. Но как-то обозначилась его граница. И он боялся подходить к этой границе. Боялся за нее заглядывать.

Может, он сам чего-то не сумел? Может, перестал понастоящему верить в чудо, вот Оно и спряталось? Ведь тогда с рисунком — сумел. Почти сумел его вызвать. Но больше и не пытался. Только вздыхал, уныло сознавая, что чуда нет.

И на Сариклене чудо не появилось. Катя была тусклой, унылой, какой-то очень встревоженной. До того, что вдруг ему стало ее очень жалко. Чувство острой жалости почти перевернуло его, но потом он видел, как оживлялась Катя на людях... Как кокетничала, очаровывала — и вдруг ему становилось смертельно скучно. И он тогда отходил в сторону, чаще всего со своей удочкой и... блаженствовал. Лениво блаженствовал, как кот на солнышке. И сейчас ему за эту лень было стыдно, за лень, за какую-то сонность души. «Чудо к ленивым не приходит», - где-то в глубине знал он. Нет, он виноват был не меньше нее. Он чувствовал это.

Но когда родилась Олеся! Это само Чудо родилось! И ведь его Катя родила. Катя родила ему Чудо. И вот тогда уже, после этого - как могло случиться все после этого?!..

Руту он знал довольно давно. И никогда ничего, кроме дружеского чувства к ней не испытывал. Прекрасная женщина, жена Льва Рудецкого. Очень красиво она пила. Не пьянела! а только удивительно хорошела. Жили они близко. Соседи, можно сказать. И заходил он вначале так - отдохнуть от сутолоки, от дел, от дум, может быть. Откинется на диване, перебросятся ничего не значащими фразами — с ней, слевой, с гостями — и незаметно возникал разговор. Здесь как-то легко дышалось и постоянно заходили какие-то живые думающие люди. А если она бывала одна — ну что ж, и с ней одной славно было.

И вдруг она его спросила: почему это у тебя тоска в глазах? Жена — красавица, на дочку не надышишься, а в глазах тоска...

Он вскинул голову, точно его разбудили и рассказывают его сон. Хотелось спросить: «да ты-то откуда знаешь?» Но ничего не спросил. Закурил. Интересно, с ней можно было сколько угодно молчать. Он ей об этом сказал, как об открытии, и прибавил: это так удивительно...

— Да ведь и с тобой мне очень хорошо молчит, — ответила она, пожав плечами.

Она часто пожимала плечами, точно стряхивала что-то, скидывала лишнюю тяжесть и оставляла ровно столько, сколько может вынести. «Какая она естественная, — подумал он. — И бесстрашная».

Курили молча. А потом стали читать стихи. Он прочел

Гумилева — «Шестое чувство». А она — Ахматову:

Какая есть. Желаю вам другую,

Получше. Больше счастьем не торгую,

Как шарлатаны и оптовики...

Пока вы мирно отдыхали в Сочи,

Сюда ползли такие ночи,

И я такие слышала звонки!..

Как она это прочитала! Как свое собственное, выстраданное, отвоеванное. Такое горькое достоинство, такое чувство меры в голосе, в жесте...

Остановилась. Затянулась. Посмотрела куда-то поверх его головы, точно ушла из этой комнаты далеко, очень далеко...

Над Азией весенние туманы,

И яркие до ужаса тюльпаны

Ковром заткали много тысяч миль...

О, что мне делать с этой простотою,

Что делать с первозданностью святою?

О, что мне делать с этими людьми!

Мне зрительницей быть не удавалось,

И я всегда нечаянно вторгалась

В запретнейшие зоны естества.

Целительница нежного недуга,

Чужих мужей вернейшая подруга

И многих — безутешная вдова.

— Рута...

— Что?

— Рута...

И вдруг он решительно поднялся.

— Я пойду.

— Ну, давай по рюмочке на дорожку.

На столе стоял коньяк.

Сколько они выпили, он не помнит. Помнит только, что они вместе запели. Сначала лагерные песни, любимые в их компании, а потом почему-то романс. Да, это она одна пропела романс, в котором была строчка: «И слово страшное "люблю"». И сказала, что эта строчка сразу переводит романс из девятнадцатого века в двадцатый.. Он вздрогнул. Ему и вправду стало страшно. А ей — нет. Это ошеломительное, заразительное чувство ее бесстрашия!.. Вот где было бесстрашие! И из него, как Афродита из пены, выступило Чудо. И сопротивляться ему было невозможно.

А потом... Потом... После этого она была точно такой же, великолепно, божественно бесстрашной. Первая взяла сигарету. Закурила. А он... он почувствовал, что погиб. И только и сумел пролепетать:

— Ну, как же теперь? Что же теперь будет?

А она ответила это свое незабываемое: «Никак. Все так и будет, как было».

Вот чем все это кончилось. Или началось. Началось, а не кончилось. Не кончилась его любовь к Кате, в том-то и дело, что не кончилась, а началась новая. И жить с этим было невозможно.

Любовь к Кате никогда не кончалась. Сейчас он это чувствует яснее, чем когда-нибудь. И Рута жива в нем. Это он тоже чувствует. И все-таки раздвоенность кончилась.

Обе любви живут в нем... Да... Но по-другому. Все сейчас совсем по-другому. Он уже не разрублен пополам. Он уже живой.

Раньше какая-то сила заставляла его разрывать и разрывать душу, как рвут ветхое платье. Была душа и еще какая-то внешняя сила, которая делала с душой все, что хотела. В этом-то и была главная двойственность. Есть Душа и есть еще что-то. Может, это «что-то», что не сама Душа, и есть черт? — думал он.

Антон ни на мгновение не обвинял никого. Ни Рута, ни, тем более, Катя, конечно, не были ни в чем виноваты. Все — он сам. И — черт.

А вот теперь черта — не было. Был только он сам. И это было как второе рождение. Воз-рождение. Да. Хотя ничего еще не изменилось, изменилось — все. Шутка ли сказать — черта не было! Точно душа сражение выиграла. Вот эта его слабая грешная душа, а с чертом справилась!

Он не гордился, скорее, содрогался ото всего, что натворил. И все-таки просто и спокойно знал, что с чертом он справился. И больше уже раздвоенным жить не будет. То, что разрывает душу на части, теперь над ним власти не имеет.

Он лежал на раскладушке все в той же мансарде. За окном покачивались сосны. Внутри него проплывала вся прошлая жизнь. Волна за волной, волна за волной, в такт качающимся веткам...

Оказывается, и вправду довольно одной поскрипывающей сосны, чтобы переполнить грудь, чтобы все в нее вошло и все недостижимое и непостижимое оказалось в тебе, внутри...

Ничего не решилось, нет, ничего еще не решилось, но душа была цела. Никакой вихрь не уносил ее прочь от себя самой... И вот это чувство вернувшейся в грудь души и было самым ошеломительным чудом.

Когда-то в детстве мать взяла его с собой в гости к соседу-священнику. Он читал Евангелие. И Антона поразили слова о том, как разорвалась завеса в храме. Взяла вдруг сама и разорвалась. Это он запомнил на всю жизнь.

Вот и с ним такое произошло. Взяла вдруг и разорвалась завеса. Когда Ольга Алексеевна умирала, а потом оказалось, что не умерла, — вот тогда-то это и произошло. Он вдруг понял тогда, что же такое жизнь. Впервые понял!

Сколько слов люди наговорили и написали. А самое главное в слова не умещается. И его никак не определишь. Антон до сих пор думал, что он неверующий. Только сочувствующий, так сказать. Конечно, Христос прекрасен, но... непонятен. И все эти чудеса.. Как в них верить?

А оказалось, верить и не надо было. Тут что-то другое. Тут надо было просто знать. Сказала же тогда Ольга Алексеевна, что знает Вечную Жизнь. Он онемел и ничего не понял. А потом увидел. И рассказать про это невозможно. Все равно не так поймут. Вдруг он вспомнил Пастернаковскую «Магдалину», которую он очень любил, хотя тоже не очень понимал:

Брошусь на земле у ног распятыя,

Обомру и закушу уста.

Слишком многим руки для объятья

Ты раскинешь по концам креста...

К горлу подступили рыдания. Руки для объятья — по концам креста... Обнимать — с креста!

Но пройдут такие трое суток,

И столкнут в такую пустоту,

Что за этот страшный промежуток

Я до воскресенья дорасту.

Прошел этот страшный промежуток между жизнью и жизнью...А сосна все качается и качается... А вправду, как это можно видеть Дерево и не быть счастливым? Даже если плачешь навзрыд даже если умираешь от боли, все равно...

Дерево - это жизнь. Жизнь после того, как ты сам сошел на нет. Мы больше всего боимся сойти на нет. Нам кажется, что после этого ничего уже не будет. Пустота. Ан нет. Эта пустота оказывается - полнота. Даже переполненность.

Только не собой. А – всем. Потому что жизнь никуда не делась.

Жизнь в чистом виде – это и есть Дерево. Если видишь Дерево, это жизнь видишь. Это у тебя в груди вся жизнь собирается. Ты сошел на нет, - освободил для нее место, вот она и собирается. И, оказывается, это ты сам впервые весь собрался. Ты ВЕСЬ. Ты есть. Есть – и все. Что бы не случилось, а ты есть...

Я ведь просто не знал до сих пор, а есть ли на самом деле я?

Люди задают столько вопросов, а только один этот и требует ответа. Только один этот. Есть ты сам или нет?

И если есть, то что же тебе надо? Ничего уже не надо. Для себя ничего уже не надо, потому что внутри тебя жизни предостаточно. Ее прибавить нельзя. Ее только разделить нужно с другими, отдать. Он еще не знал точно, что он сделает, не знал, как будет жить; но знал, твердо знал, что сделает то, что нужно его душе, его цельной душе. Именно его душе, а не кому-то другому. С этим и заснул.

И приснился ему удивительный сон... Сначала это был какой-то сплошной туман. Он клубился, то рассеиваясь, то сгущаясь, и светился, точно в туман этот была укутана какая-то тайна. И вот стала раскутываться эта тайна. И было это Озеро, очень похожее на Сариклен. Сариклен – с приблизительностью, и причудливостью сна, но Сариклен, все-таки Сариклен... Кто-то его звал там, но он не понимал, куда же идти и кому помогать. И вдруг увидел в отдалении женщину, стоящую на берегу. Женщину? Да нет, девочку - подростка, очень застенчивую, даже до болезненности, узенькую такую, тоненькую. Она вся дрожала, потому что была обнажена, и дрожала не от холода, а вот от того, что всем открыта, и все пыталась сжать руки и подогнуть внутрь колени, и у нее это никак не получалось, и она всхлипывала и тихо молилась. Молилась, чтобы ее защитил кто-то. Да не просто кто-то... Чтобы нашелся такой, которого ей не было бы так стыдно, кто бы мог взглянуть на нее и чтобы она под этим взглядом не съежилась...

И тут вдруг Антон увидел, что она прозрачная, что сквозь нее все видно. И он пошел к ней, побежал не то по воде, не то по туману. Идти было легко, только он очень боялся не успеть. А если бы не успел, то ее бы укутал туман. И она, может быть, задохнулась бы в тумане. Он очень спешил... И вот уже был совсем близко. Но тут нужно было обязательно, чтобы она его увидела, а она его в упор не видела. — Как же это я невидимым стал? — страшно удивился он. И закричал. А она — не слышит, только шепчет что-то, и он ясно различает: «Антон! Антон!». И он знает, что ему надо назвать ее по имени, вот тогда только она его увидит и услышит. Но он... не знает имени. И лица не различает. Знает одно — это бесконечно близкая, родная душа. Но как ее зовут? Катя?.. Рута?..

Тут он проснулся. Сердце его колотилось. Подушка была вся в слезах. «Чья же это душа-то? — думал он, продолжая плакать. — Чья ж душа?..

«Беззащитная эта девочка... Господи, да он ее знал, в руках держал тогда, когда они были так счастливы с Катей! Беззащитная, прозрачная девочка, через которую как

будто весь мир виден. Да ведь эти дрожащие янтаринки в глазах — это дорожки, следы в ту же тайну, которая сейчас из тумана приоткрылась ему. Куда, куда потом делась эта девочка? Это же и есть Катя! А все другое — не Катя. Это защитная оболочка, под которой она задохнуться может. Не она это! Не она! Он сейчас Катю ту, Катю настоящую, видел. Он чего-то не сумел тогда, поэтому она скрылась от него и от себя. А он к другой ушел вместо того, чтобы ее искать.

К другой?.. А почему ему вдруг показалось, что в другой есть та же девочка, та же самая дрожащая девочка?.. В Руте дрожащая девочка? Узенькая, тоненькая девочка, так боящаяся чужого взгляда, - в Руте?!..

Рута?..Нет, нет... - Антон вдруг вскочил, почти лихорадочно стал одеваться. «Рута без меня проживет, - ясно понял он. Богиня она. Но и она без меня, и... я без нее – проживем. А Та девочка без меня не выживет, и... и я без нее тоже. Мне не прожить без нее... Простишь ли ты меня когда-нибудь, Катя? Прости, прости, прости!...»

Он кинулся к станции, к телефону, стал набирать номер. «Только была бы дома, только бы дома.»

— Слушаю.

Голос ее. Катин голос!..

— Катя... Катя, это я. Мне надо видеть тебя. Очень надо, Катя!!

— Алле! Алле! Катя! Ты слышишь меня или нет?!

— Слышу.

— Так что ж ты молчишь?!

— Так сразу тебе и ответить, после того, как ты столько молчал?..

Пауза.

— Ты, конечно, права. Только разреши мне прийти! Пожалуйста, разреши мне прийти!

— Когда?

— Сейчас.

— Ну, нет. Сейчас я не могу. Приходи завтра, - и – подумав: - В семь вечера.

Отбой. А он все еще держит трубку в руке, все еще не может опустить ее. Но как же дожить до завтра? «Столько времени жил и вдруг не знаешь, как дожить до завтра?» -

слышит он ее насмешливый голос. А может, плюнуть и бежать туда, до-мой, к Кате и к Олесе, и не ждать до завтра? Или..или набрать еще раз номер? Свой номер... К себе позвонить.

Длинные гудки. Раз, два, три... десять, пятнадцать.... Не подходит. Ну, что же, - ее право...

Катя положила трубку на рычаг. Но еще держала ее рукой. По лицу ее текли слезы, вползали в рот, за шиворот. Вдруг трубка под рукой задрожала. Раздался звонок. Катя отняла руку и, смотря в каком-то оцепенении на черное тельце телефона, стала считать звонки. «Раз, два, три.... пятнадцать...». Тоненький звонок отбоя. Точно от безнадежности. Нет, опять звонки. «А может?.. Может, это уже и не он?» Она все в таком же оцепенении смотрит на телефон. По том, когда тот уже совсем отчаялся, дает волю слезам. Раз мазывает их рукой по лицу. Как будто хочет вдавить, вогнать обратно. Она досадует на эти слезы. Она на все досаду т. Она не хочет плакать. Да и о чем? Как будто бы не все кончено...

Если бы он позвонил, вот так же, как сейчас позвонил, немножко раньше, на два-три месяца, — ну, может, на месяц, — она бы, конечно, тоже плакала... Но иначе.

А сейчас... сейчас ей только бесконечно жалко этих ме сяцев, всех прошлых слез, всю себя. Ну, зачем, ну зачем она не может остановиться сейчас?! Впрочем, как она его здорово отбрила: «Завтра в семь часов!» А ему надо было вынь да по ложь сейчас, сейчас же. Ему очень было надо. Она его знает. Наверное, с его мадамой все кончилось, и он опомнился. Нет, дружочек дорогой, у нас теперь свои планы.

Она пошла в детскую. Олеся увлеченно играла в кубики, ничего не слыша. «Господи, как она на него похожа!». Пришла няня. Катя отрывисто дала ей указания, попросил не заходить к ней в комнату: «У меня очень срочная работ сейчас. А вечером отведите девочку к Ольге Алексеевне... Я сегодня буду очень занята».

«Да, не сегодня же мне принимать тебя, Антон,» — думает она вечером, открывая дверь. За дверью стоит мужчин лет сорока с очень значительным лицом. Его напряженньп сосредоточенный взгляд вспыхивает и останавливается на Кате. Потом он протягивает Кате букет роз.

Катя удивительно хороша сейчас. Гость не может оторвать от нее глаз.

Они познакомились в Ленинграде, на конференции в музее Достоевского. Оба москвичи, но познакомились там. Он отметил ее доклад. Выделил, похвалил в прениях. И пригласил в соавторы. Они вместе должны готовить статьи «Дьявольщина в булгаковском "Мастере" и в "Крысолове" Цветаевой».

Бездонная тема. И до чего ей с ним интересно!

И ему с ней тоже. Разумеется, и ему с ней.

И когда уже совсем поздно вечером он склонился к ее руке в передней, а потом быстро и пронзительно взглянул в лицо, Катя вдруг опять подумала: «Нашел, когда позвонить мне Антон, нашел, когда»...

— Катя, Катенька... Ка-тя...

Антон лепетал ее имя, пряча смятение за неполучающейся улыбкой... Катя казалась спокойной. Только сомкнутая продольная складка на лбу, которая в прежнее время не предвещала ничего хорошего, теперь говорила о собранности и защищенности. «Ах, не надо бы сейчас этой складки, — подумал Антон и горько понял: Не мне теперь диктовать условия».

— Катя, если ты примешь меня — я вернулся.

Катя молчала.

— Катя... Катенька.

Она закусила губу, кажется, до крови.

— А почему ты решил, что я так вот сразу и приму тебя?

— Я ничего не решил, — вдруг опустил он всем голосом. — Я пришел просить прощения. Я бесконечно виноват перед тобой... Но я думаю, что смогу искупить...

— Вот как?! Это искупить? Любопытно...

— Я не так говорю, Катя, но я, так чувствую. Я люблю тебя, Катя.

— Понадобилось столько времени, чтобы это понять?

Как логично, как правильно она все говорила! И какое право он имеет чувствовать, что не так, не так, не так надо бы... О, Господи!

— Катенька, Катя, я ничего не умею объяснить, но отвечаю за свои слова: я люблю тебя.

— У тебя что, там разладилось? — (Ну, и об этом она имеет право спрашивать, но... не надо бы).

— Я тебя люблю, Катя.

— Ты очень щедро мне это говоришь сегодня. А ты? Как же та? Ее ты больше не любишь? Или все еще любишь двоих, но взял себя в руки и вернулся в семью? Так я ведь в профком не ходила. — (Ну, это она уже переборщила. Это даже недостойно ее, такие шутки!)

— Зачем ты так, Катя? Ну, зачем? Неужели не видишь, не чувствуешь?

— А что я должна видеть?

И вдруг он понял, что объяснить ей это невозможно, что она не может его понять, потому что не хочет. А может быть, не хочет, потому что не может?.. Не может, не может, потому что слишком много боли он ей причинил. Ах, если бы он смог убедить ее, если бы она поверила, если бы!.. Но чем больше он этого хотел, тем больше натыкался на стену. И она вела себя, пожалуй, правильно. Это он был весь неправильный. И пытался прошибить стену лбом.

И он остановился. Замолчал.

— Так не веришь мне?..

Он ждал, что она пожмет плечами и скажет: «А с чего это я должна верить тебе?». Но она этого не сказала. Она только раздумчиво спросила: «Интересно, как это ты разлюбил ту?»

— Катя, Катя, тут дело не в том, кого и как я разлюбил или не разлюбил, а в том...

— Так, может, еще и не разлюбил?

— А в том, что того человека, который предал тебя, больше нет, — и умоляюще добавил: — Пойми это, Катя... Ну, будь великодушна, прости меня...

Он так это сказал, что знал: вот теперь, теперь, если осталось хоть что-то от прежней Кати, от той девочки Кати, она должна появиться. Должна.

И стена должна дрогнуть. И даже упасть.

Но стена не дрогнула. И та девочка не появилась.

Перед ним сидела очень красивая женщина, во всем правая. И... и он впервые засомневался: а любит ли он ее?

Он вздрогнул от этих мыслей.

Он видел ее душу — ту беззащитную девочку. Не приснилась же она ему? О Господи, именно приснилась. Но этот сон был правдой. А то, что сейчас — неправда. Но в этой ужасной неправде — он виноват.

И тогда он вдруг тихо сполз на колени. Прижался лбом к ее ногам и молчал.

— Этого уж совсем не нужно, — сказала она. — Прямо-таки сцена Онегина с Татьяной.

Он откинулся. Посмотрел на нее длинным взглядом и подумал, что все совсем наоборот: Онегин бросил ту девочку и полюбил княгиню. А ему только та девочка нужна. Всегда была нужна. Только, только та девочка. Он ее еще раньше потерял. Потом пошел искать не туда. Не в ту сторону. Неужели ее совсем нет, нигде ее нет?!..

Он взял себя в руки. Встал. И попросил разрешения увидеть Олесю.

* * *

В этом году была удивительно дружная и ранняя весна. Конец марта, а уже люди без пальто ходят. На улицах снег совсем стаял — и такое солнце! Катя мыла окна и упивалась теплом, блеском, густотой небесной синевы. Она сама сияла, как стекла под ее рукой. Казалось, что она сбросила с себя, как прошлогодний снег, всю прожитую тяжесть. Вымыть, протереть — нет ее! В синих тренировочных брюках и синей сатиновой кофточке в белый горошек, волосы — под голубой косынкой... Рабочий костюм, но все это было так ладно, так шло к ней! Ну вот и кончено. Посмотрела на свою работу — и вдруг звонко запела. Так с песней и пошла открывать дверь. За дверью была мать.

— До чего ж ты сегодня весенняя, — сказала Ольга Алексеевна, улыбнувшись.

— Весенняя! Весенняя, мама! Ты же знаешь, как я люблю весну! Раздевайся, сейчас обедать будем.

Мать стала выкладывать на стол продукты. Катя быстро сортировала и убирала их, что куда, приговаривая: «Вот спасибо, вот угодила! Но зачем же все-таки столько?! Впрочем, тебя не исправишь. Но и я тебя сегодня угощу чем-то необычным...» И действительно, когда обед уже был съеден, она выставила на стол неправдоподобной величины и красоты яблоки. Ольга Алексеевна охнула.

— Откуда такие?

— Это почерк Романа Андреича. Откуда-то достает.

Катя дала всем по яблоку, хотя казалось, что одного хватило бы на всех четверых. Няня поблагодарила, взяла яблоко для внука и ушла домой. Ольга стала резать на

дольки для Олеси, а Катя схватила целое яблоко и впилась в него зубами. Так заразительно, так весело, что все засмеялись.

— Ай да мама! Ты посмотри, как мама ест яблоко, — сказала Ольга девочке и почему-то покачала головой.

— А что, плохо, нельзя так? — задорно спросила Катя.

— Почему нельзя? Можно. Ешь на здоровье...

Сколько же в ней сейчас было энергии, силы, жизни! Это должно было радовать мать. Да и радовало, конечно. И все-таки... Не очень. К радости этой примешивалась какая-то тревога, даже тоска... Было такое ощущение, что все это так, пока есть это великолепное яблоко, пока светит такое яркое весеннее солнце. Ну может быть, не только яблоко. Катя умеет набрасываться на книги с не меньшим аппетитом, чем на это яблоко. Она пьянеет от книг, статей, пьянеет от новых людей, очаровывается и очаровывает, но вот... Мать глубоко вздохнула. Она хорошо знает, что приходят к Кате и пустые страшные часы. Чаще всего это бывает в короткие зимние дни, в те зимние месяцы, которые превращаются для нее почти что в полярную ночь. Как мрачнеет тогда Катя! Не находит себе места, прячется ото всех, — точно уходит из нее жизнь, пустеет, пропадает сердце...

Эти пустые Катины глаза...

Ольга вздрогнула.

А вот в такие дни, как сегодня, Кате словно хочется набрать, набрать побольше этого сочного, яркого, несомненного, чтобы уже не ушло оно, не оставило ее наедине с ничем... И чувствует Ольга, что эта повышенная жизнерадостность связана как-то с незримо присутствующим страхом перед пустотой, перед ничем...

Откуда в ней этот страх? Когда появился? В детстве его не было... Детский страх — это другое. Совсем другое. Тогда была великая открытость и доверие к матери. Как они хорошо жили вместе, почти как одно существо! Так было до пятнадцати лет... Да, в пятнадцать и в шестнадцать начало появляться то...

Ольга хорошо помнит день, когда оно появилось впервые. Это было в их любимый праздник. Был у них такой праздник — первого дачного дня. Обычно это был и первый день Ольгиного отпуска. Они в этот день ничего, решительно ничего не делали. Еще не разложены вещи, еще дача не убрана, а они лежат на траве, катаются по ней как две подружки, или просто смотрят в небо. А если день был похолодней, Ольга разжигала костер. Они усаживались у костра, мать что-то рассказывала. Катя любила бесконечные мамины сказки! На костре пекли картошку. Припасалось что-то

самое вкусное. Но главное было — тот ритуальный миг, когда Ольга внезапно, всегда внезапно подымала палец и надо было прервать все, что ты делаешь и говоришь, — надо было затихнуть и ждать. И тогда появлялся тот, который всегда за спиной или — над головой.

Когда Катя была еще маленькая, один раз из-за спины вынырнул и пробежал прямо около костра заяц. И это было чудо. Чаше пробегали ежи, вспархивали с ветки большие прекрасные сойки, вспрыгивала белка. Все это появлялось и убегало, но мать не опускала палец и шептала: след-то какой! Видишь след? И Катя всматривалась и вслушивалась и запрокидывала голову и видела огромное небо над головой. И казалось ей, что этого неба раньше не было, что она никогда его не видела. Появлялся какой-то перерыв в днях и часах, и это и было праздником. Ни о чем, ни о чем не надо было заботиться, ни о чем — думать. Точно кто-то (тот, который за спиной или над головой) все делает за тебя.

А потом вдруг откуда-то появлялись силы делать все, все, что нужно... Так быстро и весело!

И вот был именно такой праздник, такой долгожданный день. Но то главное праздничное чувство все не появлялось. И когда Ольга все-таки подняла палец и сказала, что сейчас придет тот, который... — Катя вдруг передернула плечами и сказала: «Ну, хватит этих игр, мне скучно!» — и ушла от костра в дом. Ольга впервые осталась одна у потухающего костра и стала медленно машинально шевелить кочергой мерцающие уголья. И кочерга выпала у нее из рук, а она уронила голову на руки — и так и застыла.

Катя в это время мыла свою комнату и разбирала свои вещи. Катя решила заняться делом. Своим делом.

Да, с этого дня все и началось. Постепенно весь мир стал делиться на мое и не мое, на мое и твое.

Ольга знала, как и когда это появляется в детях. Сколько она слышала от своих учеников подобного: «Это мое мнение. Я так считаю». Они говорили это с гордостью, это был знак их взрослости: мы не хуже вас, взрослых... Она сама развивала в них эту самостоятельность. Очень боялась стадного чувства, подражательности, невыявленности своего «я».

И, однако, наступал момент, когда эта «самостоятельность» переходила всякие границы, и тогда она устраивала урок под названием «Мое мнение или моя глупость». Разобраться в этом было, оказывается, не так-то просто... Но как-то они

разбирались. И что-то ученики чувствовали. И начинали понимать, что недостаточно быть самостоятельным. Кроме этого и прежде этого надо еще быть... Просто быть.

А вот Катя не очень-то понимала. С дочкой оказалось труднее. «Мое» — это то, что я люблю — знала Ольга. Я и есть то, что я люблю. Ребята еще не любили какого-то писателя, еще не чувствовали его, но они уже любили ее, свою учительницу, и доверяли ей. И через эту любовь и это доверие, как через мост, она могла привести их к тому, что любит сама. Любовь — это мост, это путь. Любовь открывает мир, а не закрывает. Научить любить мир — вот и все, что она хотела. Но научились только те, кто любил ее.

А Катя? Боже мой, Катя... Как все было сложно! Конечно, Катя любила мать. Любила... И в то же время защищалась от нее, точно мать на нее посягала. От прежней открытости постепенно не осталось и следа. Точно замок появился. Защелка. Щелчок — и все: Кати нет дома. Однажды, когда хлопнула входная дверь, и Катя и вправду вышла из дома, Ольга осталась у окна, не зажигая света. Так и застыла. В комнату вплыли сумерки. «Мое. Мой мир» — стучало у нее в мозгу. — «А где же мой мир?». И показалось ей, что она стоит на берегу Бесконечности одна. Совсем одна. А Катя пошла искать укрытия, своего уголка...

Ах, какая тоска охватила тогда Ольгу! Она почувствовала вдруг себя огромным неуклюжим слоном, которому надо беречь какое-то крошечное хрупкое существо, а существу этому надо было только одно: чтобы слон оставил его в покое, ушел подальше. Да неужели это и вправду так?! Сердце больно-больно сжалось... Куда же ему деваться, этому слоновому сердцу?..

«Возрастное, пройдет», — говорила ей Белка, когда Ольга делилась с ней...
Возрастное? Боюсь, не только... Один раз Катя упрекнула мать, как это она, с ее-то умом и способностями, осталась учительницей в школе?

— Осталась, где хотела, — ответила Ольга.

«Да, сама она учительницей не осталась, моя ученая дочка». — Ольга покачала головой. А воспоминания плыли и плыли.;

Когда появился Антон, то как будто внезапно вернулась и прежняя Катя. Антон почти сразу стал Ольге сыном. Катя вся светилась, была звонкой, легкой. Счастье пришло в дом. Но... не надолго.

Это прошло скорее, чем можно было думать. И появились Катины, прячущиеся от матери, пустые глаза. Властный, командный голос, все возрастающая уверенность в

себе — и вдруг эти неожиданные, всегда неожиданные срывы в пустоту, во что-то вязкое, обесцвеченное...

Дочка была рядом с ней, и — не было дочки. И это было —страшно.

«Может, это мне за ту молитву?» — думала Ольга.

Был в ее жизни такой миг, когда она выхватывала Катю из лап смерти. Вскоре после того, как умерла мать, Катя заболела. Да так, что чуть-чуть не отправилась вслед за бабушкой. И Ольга обезумела. Вселился в нее всеопрокидывающий страх. Как она металась, как молилась!

Девочка выжила. Но рядом с великим счастьем и благодарностью поселился с тех пор в душе у Ольги стыд... Так молиться нельзя было. Ей нельзя было... На всю жизнь запомнила Ольга тот свой страх за ребенка, то свое судорожное несогласие на неведомое. Запомнила, как что-то, может быть, и естественное, но все-таки для ее души недозволенное... Да, недозволенное.

Молиться можно было. И вырывать у смерти можно было, нужно было. А вот того страха допускать было нельзя. Какая-то черта была здесь перейдена. Точно Катя разрослась непомерно, точно на миг заслонила она что-то в душе, чего никто и никогда заслонять не должен.

Однажды, уже много лет спустя, она рассказала об этом Белке. Белка не поняла.

— Ты в чем винишь себя, Оля? Тут не в чем себя винить. Никто и не может молиться по-другому, когда его ребенок болен. И не должен, — прибавила она, подумав. — «Просите и дастся вам».

Белка тогда только что крестилась. Ей хорошо было в церкви. Точно бездомная душа ее нашла, наконец, дом. Оля за нее радовалась.

— «Просите и дастся вам», — повторила Белла, а Ольга вдруг опустила глаза.

— Не все ведь дается, Беллочка.

— Да... не все... Наверно потому, что мы не так просим. Ольга подняла глаза и молча посмотрела на подругу.

— Ну, я не знаю почему, но просить надо, — горячо сказала Белла.

— Надо прежде всего слышать Его волю... «Да будет воля Твоя, а не моя», — подумав, ответила Ольга. — В нас две воли, а не одна... Иногда они совпадают, а иногда нет. И если свет клином сходится на чем бы то ни было, то для Божественной воли нет места.. — она помолчала и продолжила: — Остается одна. Человеческая. Если душу

заклинило на чем угодно, хоть на мысли о самом Боге, нет тут божественной воли, нет простора... Один тупик. Вот меня тогда и заклинило, — закончила она.

Белла ничего не ответила.

А сейчас Катя хрумкает свое великолепное яблоко и строит Олесе уморительные гримасы. Обе покатываются со смеху. Катя так добра, так мила сегодня!

— Ну, как твоя статья, доченька?

— Ой, мама, об этом мне как раз надо с тобой поговорить. Вот девочку уложим, — сказала она, продолжая играть с Олесей, — тогда и поговорим. Да, девочке нужно заснуть, а маме — поговорить с бабушкой.

Но разговор начался все-таки не со статьи.

— Мама, спросила Катя, — ты знаешь или нет, что у меня был Антон?

— Когда?

— С месяц назад.

— Это я знаю, — как-то сникла мать.

— От кого же?

— От него, конечно.

— Вот как... И ты... недовольна мной?

«Спрашивает... Неужели вправду ей мое мнение важно?»

Ольга сжалась. Сердце ее заныло. «Доченька! Доченька! Если бы у вас с Антоном могло все вернуться! Если бы!.. Да неужели ты не видишь, что такое Антон?»

Все эти слова накопились в ней, как слезы, но она не могла их произнести вслух. Не вернется Катя к Антону. А если бы вернулась? — Что бы из этого вышло?.. Ольга совсем не знала. Катя увлечена другим. Кате другое нужно...

Обе молчали. Потом Катя вскинула волосы, разгладила собравшийся было в складку лоб и сказала:

— Прошлого не вернешь. Сначала у него прошло, потом у меня.

— А эти цикламены тоже от твоего Романа Андреевича?

Катя улыбнулась:

— Он меня очень балует. Мама, ты ведь читала его работы?

— Читала, конечно.

— Ну, и как они тебе?

— Он интересно мыслит, — сдержанно сказала Ольга.

— Так вот, мамочка. Я хочу тебе рассказать об этой нашей совместной с ним работе. То есть, конечно, пока это в основном его работа, но все равно. Помнишь, мама, мы говорили о Воланде? Ты говорила, что Воланд — это еще не тот черт, который противостоит Богу. Это — та многомерность бытия, природы, стихии, которая противостоит одномерности рассудка всех Берлиозов и Бездомных.

— Да, помню, конечно.

— Представляешь, Роман говорит точь-в-точь то же самое. Почему только ты статей не пишешь?

— Я очень рада, если он говорит то же самое.

— Да, да, точь-в-точь. Он говорит, впрочем, нет, это уже я говорю — это мы говорим, — засмеялась она, — что цветаевский Крысолов в Гаммельне — это такая же чертовщина, как и Воланд в Москве... И гаммельнцы, и крысы — одномерность, плоскость... Крысолов — подсознательная глубина искусства, слияние с природой и стихией. Магия — это слияние с природой и стихией. Музыкант, поэт, — маг; и этим все сказано. И Воланд среди этих растерявшихся москвичей — такой же всемогущий маг, как тот, кто уводит крыс и детей.

— Что ж, это все довольно точно.

— Но, мамочка, так это правда, что Добро и Зло — это два равных начала, что Бог и Дьявол равно могучи? И ты... тоже так считаешь?

— Что ты! Никогда.

— Не понимаю... До сих пор все так, и вдруг — не так?

— Я говорила, что булгаковский Воланд — это не тот Дьявол, который противостоит Богу. Но это булгаковский Дьявол.

— А есть другой?

— Конечно.

— Роман и про это говорит. Он говорит, что есть Дьявол пострашнее Воланда. И он по силе равен самому Богу.

— Пострашнее Воланда есть. Но почему это он равен Богу? Кто это может быть равен Богу?

— Но ведь даже Воланд по силе не меньше Бога.

— Почему ты так решила? Где это Булгаков сравнивает силы Бога и Дьявола? Да Булгаков просто вообще не говорит о Боге.

— То есть как? А Христос?

— Ну нет, его Иешуа — не Христос.

— А кто же он?

— Просто очень хороший человек, не знающий зла. Да, человек, неподвластный злу. Это, может быть, самое таинственное, с чем Булгаков столкнулся. И он твердо знает, что это что-то, неподвластное злу, — есть. И это — краеугольный камень мироздания.

— Краеугольный камень мироздания — и не Бог?

— Нет, не Бог. Но раз есть это, то Бог есть. Это — камень веры.

— Так ты говоришь, что Иисус — просто очень хороший человек, который неподвластен злу?

— Это булгаковский Иешуа таков... А Иисус, настоящий Иисус — нет... не только.

— А в чем же разница?

— Булгаковский Иешуа не знает и не хочет знать зла... Настоящий Иисус его знает. И побеждает. Тем, что перерастает. Вырастает надо всем злом, как гора над бугром. У Булгакова Иешуа называет всех добрыми людьми. В Евангелии Иисус говорит, что мир лежит во зле и что люди не любят Его, потому что злы.

— Ну, а может, Иешуа просто верит, что добро бессмертно, а зло смертно? Поэтому зла как бы и нет?

Ольга взглянула на Катю молча. Потом повторила тихо: «Зло смертно и потому его как бы и нет...» Это ты хорошо сказала. Вернее, не хорошо, а правильно. Для тебя это одно умозрение. Можно так поглядеть, а можно иначе... У Видишь ли, то, что добро бессмертно, знают и Христу Дон Кихот. Так ведь они по-разному знают. И как ни высок Дон Кихот он все-таки идеалист, а Христос - великий реалист Он всю бездну, всю смерть душою измерил и узнал, что Он больше смерти.

Дон Кихот готов на смерть. Он сто раз умрет, но злым не станет. Но он не больше смерти. Он через смерть не прошел. Не вышел по ту сторону ее.

Глаза Кати были широко раскрыты. Она силилась понять.

— Что значит — «по ту сторону»?

Ольга вздохнула:

- Я сказала все, что могла. Не надо об этом много говорить. Мне... не нравится, когда об этом много говорят.

- Но, мама Булгаков написал книгу, и мы должны понять ее.

- Понять - тускло повторила Ольга и замолчала. - Понять. Вы же поняли, что булгаковский Воланд не противостоит Богу, ну и хватит. О другом не будем.

- Ну, а... вся эта чертовщина... Весь этот страх... Неужели это все с Божьего соизволения?

- Это... с нашего соизволения, - со вздохом произнесла Ольга.

- Ну, знаешь, мама, тебя трудно понять. А мне так хотелось понять, что же такое «черт».

Ольга молча поглядела на Катю, точно приглядываясь к чему-то и не спешила с ответом.

- Чтобы это понять, нужен духовный опыт, - сказала она наконец.

- Я не люблю, когда этим интересуются, любопытствуют.

- Ну, а почему ты считаешь, что у Романа нет духовного опыта?

- Я с тобой говорю, а не с твоим Романом. Я - с тобой, и ты со мной, а не с ним сейчас говоришь.

Катя закурила.

- Да, я с тобой говорю. Что он думает, я знаю. Хочу узнать, что думаешь ты.

- Я... не люблю, когда играют с чертом.

Катя вспыхнула.

— Так мы с Романом играем, по-твоему?

Ольга хотела что-то ответить, но в это время в детской заплакала Олеся и стала звать бабушку. Что-то ей приснилось страшное. Она прямо зашлась в плаче.

— Видишь, черт ребенка испугал, — сказала Ольга, вставая. — Он делает свое дело, пока мы рассуждаем о нем...

«Мать, по сути, от разговора ушла, — думает Катя, — а мне надо что-то допонять».

Что-то в Романе и в его теории ей не до конца понятно. Хотя все это очень убедительно, смело и — красиво.

У нее слегка кружится голова при одной мысли о Романе. Отношения их зашли уже далеко. Однако, он не спешит с устройством совместной жизни, не говоря уже об оформлении. Вообще-то, он женат, но с женой давно не живет. Хотя и не разводится. У них — дочь и какие-то очень сложные отношения, которые ему почему-то надо пока сохранить. Впрочем, Кате это сейчас не так уж важно. Что будет, то будет, а сейчас!.. А сейчас он увлечен ею едва ли не больше, чем она им. Уж это-то она видит. И — ей кажется, что она никогда еще не была так счастлива. Впрочем, за сопоставление она не ручается, но сейчас... сейчас...

Сейчас никого равного ему нет и быть не может. Он — кумир Москвы. Когда объявлена его лекция, на улице давка, как на модного тенора. А уж что делается на самих лекциях! Роман Андреевич Корш... Кто его не знает?

А с нею он — просто потерявший голову мальчик. И при этом, Господи, как им хорошо вдвоем! Мир расширяется, точно окна раскрываются настежь и ведут не на улицу, а в какой-то еще большой таинственный дом с бесконечными ходами, анфиладами! Ой! Да ведь это и есть ушедшая в бесконечность квартира Берлиоза. А он... он... Это очень пошло: говорить, что у человека глаза горят, как угля. Но что делать, если они действительно прожигают, действительно два черных угля, подобных которым нет ни у кого. Нет и не может быть... не может быть, — думает она, проваливаясь в какое-то невозможное блаженство. Нет, равного она еще не знала... Да он сам — крысолов, флейтист, расстилающий под ноги небо со звездами, как ковер. «Господи, как цветисто сказались!.. Ну, что делать, как по небу ступаю...»

«Ну, а вдруг он и есть Крысолов, - думает она, - и все это - сон, чара, а кончится все так же, как и в поэме?»

Mutter, ужинать не зови!

Пу-зы-ри...

Нет не так-то просто утопить ее в болоте. Она не девочка не Грета какая-нибудь. И он, конечно, не вульгарный черт а Маг. Она и хочет его магии, только и хочет идти за магом. Входить в многомерное пространство. Она идет тудас открытыми глазами. У музыки есть право делать с душой что угодно. На то она и музыка. Музыка не лжет, говоря, что есть другой мир. Только не надо искать этот мир на карте. Он – не где-то. Сама музыка и есть другой мир.

Ну а если музыка кончится?.. Когда она кончится? Катя вздрагивает. В глубине души она знает, что боится только одного: тишины. Той пустой тишины...

Может быть, вся ее жизнь, все то, что она строит, на что опирается, и есть защита от этой тишины и пустоты... Но почему, собственно, должны прийти эта тишина и пустота? - спрашивает она себя и отвечает: «Потому что они всегда приходят, потому что они - за порогом. Все кончается... Все, все кончается. Но... подождем еще. Ах, подождем». Она отодвигает мысль о конце. Она не хочет сейчас знать об этом. Впрочем, конечно, надо жить так, чтобы тебя не застало это врасплох. Надо, чтобы у тебя было что-то незыблемое, прочное. собственная почва под ногами. И это у нее есть. У нее есть воля. И - достаточно трезвости. Когда кончится этот спектакль (если он кончится)... Ну, что ж, она выйдет из игры, встряхнется и - займется делом. Делами.

Катино лицо делается волевым, собранным и – недобрым.

Но вот оно снова размягчается: пока что ничего этого еще не нужно. Какие-то мечтательные светотени проплывают в глазах, и они наполняются слезами. И - плакать сейчас сладко. Как думать о Романе.

Вздрагнула от телефонного звонка.

— Ты? Ты же сказал, что сегодня не можешь? Одна, одна. Кажется, понимаю. Да. Жду.

Она вешает трубку. «Понимает ли она, что он не может прожить без нее больше трех часов?» Уж не слишком ли? — Катя улыбается в темноте. — Ничего не слишком.

И в ожидании его прихода продолжает думать о нем.

Напрасно мать считает, что у него нет духовного опыта. У него есть опыт, только свой, особый. Пожалуй, он знает вещи, о которых мать и представления не имеет. Он заходит куда-то туда, куда мать принципиально не заглядывает. «А не боишься ли ты, мама?» — вдруг озорно думает Катя и вздрагивает... Стоит ей остаться вдвоем с Романом в темноте, как вдруг темнота начинает высвечиваться. Да, рождаются цвета

и оттенки. Как будто бы не белое, а черное прячет в себе цветовую гамму. Эта чернота, тайна, чреватая множеством цветов и оттенков, сгущена около него, в нем.

Немного жутко и удивительно сладко, — сосет под ложечкой. Точно падаешь в бездну. Но между бездной и ею — его руки. Он носит и качает ее там. О, Господи! Она задыхается от счастья. Теряет голову, все теряет. И все это как во сне, когда все-таки, где-то на дне сознания брезжит мысль, что это сон и что можно проснуться. Это знание — как бы на всякий случай. Знаешь и не спешишь просыпаться. Ну, а если придется, — что ж, ей не впервые. Но, может быть, состояние это, такое волшебное, еще никогда не было таким непрерывно-напряженным, неправдоподобно захватывающим... Не надо, не надо, не надо просыпаться!..

С Антоном что-то чуть похожее было лишь в самом начале. А то, что потом — уже совсем-совсем другое. Какое-то тепло, казавшееся очень прочным и — сонным. Да, то, что было там, тогда — сонное, а здесь — сновиденное.

Восхищенной и восхищенной.,

Сны видящей средь бела дня,

Все спящей видели меня.

Никто меня не видел сонной.

Она вспоминает эти стихи и улыбается. Хотя хорошо знает, что ее видели всякой. Она бывала и бывает всякой. Да, конечно. Но сейчас есть это — и пусть, пусть, пусть оно длится. А сам Роман... Ей кажется, что он все время видит какие-то вещие сны, все время не выходит из этой сновиденности... из какой-то светящейся бездны... Плавает в ней. «Но разве это не духовный опыт? — вдруг мысленно обращается она к матери. — До каких клавиш в душе умеет он дотронуться! А что из этого получается?.. Добро или зло? Это все вопросы из плоскости. А здесь — другое измерение».

И не то, чтобы Роман был безразличен к добру и злу. Нет, нет, это не так. Слышала бы мать, как он говорит о Христе. Да у него даже голос тише становится, такое появляется благоговение.

Как-то он ей сказал: «Понимаешь ли ты, что это значит — «любить врагов своих»? Христиане, как правило, этого не понимают. А вот Христос понимал. У христиан это просто слюнявость или вообще одни слова. А Христос!.. Христос знал, кто такие Его враги и враги людей. Он умел относиться к ним, как к равным.

— Как Иешуа к Воланду?

— Ну, если хочешь... — он задумывается. — Видишь ли, у зла такие же священные корни, как и у добра. Они равновелики и равносильны. И никогда одно не сможет победить другое. Всегда будут существовать оба. Оба они одинаково вечны. И Воланд такой же вечный, как Иешуа. Воланд — это бездна. Помнишь этот его пустой глаз, этот провал... Нет, вы сначала отважьтесь в эту бездну взглянуть, а потом уж говорите о Добре и Зле. Тут нужны смелость, дерзание... Дерзновение!

Катя вздрагивает. Может, ей этого и не хватает. Но — ему!.. А с ним и она становится смелой...

— Добрые и злые, — продолжал он, — это что кому на роду написано. Не всегда человек волен в добре и зле. Человек определен еще до рождения. И многих вещей человеку в вину ставить нельзя. Не все мы можем, что захотим... А то и получится одна из этих утопий. Человеку так хочется создать стройную систему. Обнести себя стенами, огородиться от зла. Но разве когда-нибудь получалось это в человеческой истории? Отдельные люди только. Но они просто родились добрыми и чистыми. Есть такие. Есть другие. Для одних — одно, для других — другое. А вера в систему — это для Арского. Не для меня! Отсюда и марксизм вырос.

Роман рассказывал Кате о своем учителе, профессоре Арском. Это был человек чрезвычайно талантливый, и крупный. Гегельянец, потом убежденный марксист. Да. Это все не так просто. Человеку надо было верить. Концепции строить. Ну вот и построили свое «величественное» здание. Чем более громоздкое, тем оно казалось величественнее.

У Арского Бориса Львовича и в лице была этакая трагическая величавость. Рыцарь Разума. И эти головоломные философские системы ему казались столь же торжественными и незыблемыми, как готические соборы. Когда один очень способный студент, отвечая ему на экзамене, посмел сказать о громоздкости и тяжеловесности гегелевской системы, да еще назвал ее колоссом на глиняных ногах, — Борису Львовичу трудно было скрыть свое презрение.

— Она громоздка для тех, кто не в силах ее охватить, — сказал он тогда. — Идите. Я советую вам больше вглядываться в великое, прежде чем высказываться о нем.

Этот студент, теперь профессор, мне не так давно об этом рассказывал. «Великое здание человеческого разума...». Что-то очень много щелей было у этого здания. И мировое зло преспокойно проникало в него. Между прочим, почти одновременно и профессора, и студента вымели из светлого здания. В сорок девятом обоих арестовали. Так что было время подумать на досуге.

Вернулся студент на два года раньше профессора. По амнистии вышел, срок меньше был. А Борис Львович досидел до двадцатого съезда. В пятьдесят шестом году вернулся в Москву. Но Москва уже была другой.

Арский все вынес и остался верным себе. Но верность эта уже никому не была нужна. В университет его не взяли. Стал читать лекции по квартирам. Прежние поклонники устраивали. Полный провал! Молодежь не понимала, что в нем находили прежде. Его защита гегельянства и марксизма воспринималась как что-то уж совсем неприличное, а главное — скучное! А ведь это был титан. Знала бы ты, какая в нем была сила духа! Но что с того? В Москве совершался тогда религиозный переворот. Все становились христианами, открыли вдруг мыслителей русского серебряного века. Ими и зачитывались. На что им был Арский. Им был нужен Сокол.

В этом месте рассказа Катя встрепенулась: — Какой Сокол?

— Александр Григорьевич. Тот самый студент, что посмел критиковать Гегеля.

- Да это же мой отец!

Роман это знал. И был очень доволен эффектом этого места в рассказе. «Ах ты мой соколенок! Может, сама что-нибудь помнишь из этого времени?» - он засмеялся. — «Куда тебе. Еще совсем маленькой была».

- Я помню, как отец вернулся из лагеря. Я с ним тогда только и познакомилась.

- Да. А отец твой начал умы перворачивать. Кстати, давно хотел спросить: а почему он Ольгу Алексеевну оставил? Такая женщина!

- Вовсе не он оставил. Это она его оставила.

- Она?! Оставить Сокола! Да что ж у них вышло?

- я не очень хорошо знаю. Мать об этом говорить не любит. А отец говорил, но я не все тут понимаю. Но... ты об Арском продолжай.

- Ну что ж, отказался-таки Борис Львович от своей веры в разум и в то, что зло можно втиснуть в клетку системы и запереть. Отказался! И остался он, как любимый его герой — король Лир — голым в степи. Все идеи его предали. Не было у него больше идей. И возопил он полным голосом о том, что этого противника шапками не закидаешь. Больше он не обманывался и не обманывал. Понял, что победителем быть не может. И возопил. И вот, когда человек так возопил, его и слушать вдруг стали, и читать. Стал он писать книги. И был в этих книгах голый крик большой души. И было это, может, подлиннее всех новых идей и выходов, - всех этих новых построений. И даже твой

папенька, Соколенок ты мой, стал относиться к нему с великим уважением, - закончил свой рассказ Роман Андреич.

Возвращаясь к своему учителю, Роман говорил:

- Видишь ли, друг ты мой, ведь выходов-то ни у кого нет. В одно время покажется выходом одно, в другое – другое. И будут люди держаться за этот лжевыход изо всех сил... А нужно ведь только – мужество.

- Мужество признать, что выхода нет и быть не может?

- Ну, если хочешь, да. Но Борис Львович сделал это со слишком большим надрывом, - продолжал Корш. – и главное...главное – он испугался этой громады мирового Зла. А между тем, пугаться-то как раз и не надо.

- Как же это? – насторожилась Катя.

- Надо уметь завораживать зло. Надо быть флейтистом, - сказал Роман с обезоруживающей улыбкой. – Надо уметь так же пролезть в щели зла, как оно само пролезает в щели добра....

И, глядя в недоуменные и слегка встревоженные Катини глаза, он продолжал:

- Ну вот, к примеру, сколько люди рассуждают о вечной любви, а потом становятся в позу и произносят монологи: «Нет правды на земле» - и т.п. Так вот вместо всех этих торжественных монологов ты сумеешь сегодня завладеть душой, завладеть тайной...

Какие у него были глаза, когда он это говорил! Он действительно завораживает сердце, как флейтой. Катя не совсем понимала. И нельзя сказать, чтобы совсем не боялась. Но шла... шла...

Нет, такого счастья она еще не знала!.. Счастья без передышки... Да, да, Роман вообще человек без передышки. Бог знает что! Появляется какое-то чувство, похожее на спортивное: набирается как бы градус чувства, набрать еще и еще жара и выдержать, и еще, и – выдержать! Головокружение! Захлеб! Иногда они опоминаются: а в самом ли деле это? Уж не снится ли им? Не пьяны ли они? И убеждаются, что нет, не снится, нет, не пьяны. Все в самом деле.

Роман уже живет у нее. Правда, еще не окончательно все сказано его домашним. Для них он как будто еще в какой-то командировке. Потом придется на время рататься (о, на самое короткое), чтобы поставить все точки над „і“, и потом уже – ни на миг. Разве это возможно – расстаться хотя бы на миг?! Ведь когда он встает, одевается и доходит до двери комнаты, он поворачивает обратно и говорит, что уже соскучился. Она смеется: «Но, милый мой, ничего не поделаешь, все-таки день на дворе». У нее много

энергии . И какой организаторский талант! Как она умеет организовывать их время, их общую работу!

Она человек обязательный. И ответственный. Во всяком случае, голос и тон у нее такие, что ей можно доверить государственный банк. Правда, она может потерять три раза на день ключ от собственной квартиры или даже оставить его в замке по ту сторону двери. Но это не в счет. Все равно, она человек обязательный и ответственный. Как будто бы обязательные и ответственные не теряют ключей и даже головы? Теряют. Но....находят. И она – найдет.

- Ах, моя Маргарита Николаевна, - говорит он ей. Или:: - Марина Ивановна. Ты знаешь, что общего у Маргариты с Мариной?

- Ну, что?

- Они обе не боятся черта. Они обе совершенно бесстрашны.

- Да... – как-то сникает она. - Ты уверен, что я бесстрашна?

Он в этом уверен и уверяет ее. И уверения эти кончаются так бурно, что они уже забывают, с чего все началось. Но иногда разговор продолжается.:

- Глупышка, бесстрашна ли ты? Ведь ты не боишься мсня?

- Тебя? Тебя-то почему мне бояться? А ты хочешь быть страшным? — смеется она. Он делается серьезным.

— Ты великолепно умеешь переходить за черту. Великолепно! А ты думаешь, Маргарита Николаевна не знала страха? Еще как знала! Страх перед ночью, перед этой многомерной тьмой... Ты думаешь, ей так просто было быть королевой у Воланда в эту ночь ужасов?

И он начинал вдруг почти наизусть читать сцену бала, когда из разверзшейся пасти камина вываливались гробы с оживающими трупами. Иногда он так входил в это, что она

цепенела и кричала: «Замолчи!»

— Ничего, ничего, королева! Вы должны поприветствовать гостей, - отвечал он. - Ты же королева. Ты - королевской крови.

Если говорить честно, она в этом сильно сомневалась. И отгоняла сомнения.

— Королева?..

— Да! Моя Королева, королева огня.

У него, пожалуй, был не самый хороший вкус. Говорил он подчас высокопарно. Но... Где найти слова вровень его накалу? Если она не была уверена в своем бесстрашии, то уж в силе своих чувств уверена была. Да, может быть, и впрямь в одном ряду и с Маргаритой, и с самой Мариной...

Это был пик их счастья. Но тут ему понадобилось вернуться из «командировки» домой. О, ненадолго, совсем ненадолго. А потом они должны были вместе поехать в Коктебель, в Дом творчества. Все было уже согласовано. Олеся будет с бабушкой на даче. А у Романа с Катей путевки на август. Море! Солнце! И — Роман....

Жизнь была так ощутимо хороша, что ее можно было надкусить, как сочный крымский персик. Катя великолепно плавала, почти не отставая от Романа, упивалась солнцем, ходила в горы. Очень любила прохладу и мягкость утренних и вечерних часов. И только в самый миг заката или — и особенно — в лунные ночи она испытывала какое-то беспокойство, иногда дорастающее до страха, напоминавшего ей то чувство, что было когда-то на Сариклене.

— Пойдем домой, я спать хочу, — говорила она ему, когда он зачитывал ее стихами в лунные ночи. Но наступало утро — и беспокойство развеивалось.

И все-таки вдруг настигало опять. Мимолетно, нечаянно...

Однажды они пошли небольшой компанией в бухту Тихую. Там купались. А потом расположились на берегу. И бывшая с ними вместе поэтесса Алиса Мельникова стала читать свои стихи. Ее упросил Роман. Она сперва действительно не хотела: «Ну, что за время и место!» — «Где вы найдете лучшее место? — обвел он руками простор. — А время?.. для стихов всегда есть время». Словом, она стала читать. Кате нравились эти стихи. Она их искренне хвалила. И вдруг перехватила взгляд Романа, взгляд, ее не видящий, не к ней обращенный... И какой взгляд! Казалось, забыв весь мир, он глядел на Алису так, как ни на кого, кроме Кати, глядеть не смел... И, казалось ей, что не мог... не мог... И вот — смог.

Лицо Кати исказилось так неожиданно, что она схватилась за сердце, имитируя спазм. Но, кажется, никто ничего не заметил. И Катя взяла себя в руки. Только сердце на самом деле выскакивало из груди.

«Что это я? — уговаривала она себя на обратном пути. — Как будто он не имеет права восхищаться женщиной, пишущей такие стихи?.. Что это, неужели я унижусь до перехватывания взглядов?». Впрочем, скоро она перестала себя уговаривать и дала волю откровенной тоске, вот такой же, какая наваливалась на нее лунной ночью. «Имеет, не имеет права... Кому это важно... Так нет защиты от этого! Нет?»

Она беспомощно оглядывалась по сторонам, точно вот здесь где-то за ближайшим холмом, и можно было что-то найти Потом вдруг отстала от компании и пошла сзади, глотая слезы. Роман был очень увлечен разговором. Неужели так и не заметит, что ее нет рядом? Нет, заметил. Остановился. Очень заволновался: «Катя! Катенька!» Ну вот, поворачивается назад и бежит к ней по песку. Какое у него лицо! Совершенно, совершенно невинное, честное и очень огорченное «Что с тобой, деточка моя? Ты почему отстала?» Берет ее за руку. «Моя маленькая ручка...» Нет, нет, не притворяется. «А Антон, когда приходил от той, как нежен был... — думает она и одергивает себя. - Ну, тут, конечно, ничего еще не было. А не все ли равно, было или не было, если, если

можно так глядеть?»

— Скоро возвращаться, — говорит она, - вот я и хотела тебя спросить, куда же ты вернешься?

Она говорит и понимает, что этого сейчас говорить не надо Сейчас особенно не надо... И вот он становится неестественным Куда-то уходит все его неотразимое великолепие. Он беспомощен, как-то не талантлив. Он становится в позу.

— Так ты что, не веришь мне?!

Ей не хочется говорить в таком тоне. Ей вообще не хочется говорить. Ей хочется плакать. Но она сдерживается. И вдруг это опрокинутое, почти детское лицо его трогает ее. Она нежно дотрагивается пальцами до его щеки. А он целует каждый ее палец. Он сейчас - сама искренность. И все-таки где же защита от этого? Он любил повторять цветаевское: «Одного безумия уст достаточно, чтобы...»

Да, этого безумия достаточно, чтобы смести любые доводы Ну так что, строить свое счастье, свой мир на безумии? Кажется, он только этого и хочет. А она... она идет по берегу моря и — плачет.

* * *

«Ну вот я и с вами. Как я соскучилась! Господи, как соскучилась!» - говорит Катя, зацеловывая дочку и быстро обнимая мать. Она приехала на дачу, а Роман еще в городе

Он завтра приедет. И основные гостинцы привезет завтра. А пока она выкладывает персики, груши бэра и небывалых размеров помидоры. Олеся в восторге. Она ходит,

вся перепачканная соком и мягкой кожурой, а Катя смеется и плачет одновременно. И не может от нее глаз отвести. «Господи, но как же на Антона похожа!»

— Не было вам тут трудно вдвоем? — спрашивает она мать.

— А мы не вдвоем, а втроем жили. С Антоном. Он отпуск взял, чтобы этот месяц с нами провести.

Кате не очень приятно это слышать. Кажется, вот-вот появится ее складка на лбу. Но она не дает ей появиться.

— Вот как. Отпуск здесь проводил? Когда же он уехал?

— Вчера. — (Пауза). — Зная, что вы приедете.

— То есть?.. Он уже знает, что мы приедем? — Катя нажала на «мы».

— Не в этом дело. Ну просто, что мы уже будем не одни, — смешалась мать. — Ну и правда, что ж ему тут... вот так... — Ольга замолчала. Потом вздохнула и просто посмотрела дочке в глаза. — Да, мы тут хорошо жили. Он, наконец, навидался с Олесей. Ты не знаешь ведь, — он у Белки жил все это время. Теперь только получил квартиру.

— У Белки? У нашей Белки?

— Ну, конечно, у нашей. Не так уж много Белок, у которых живут все бездомные.

— А теперь квартиру получил?

— Да. В Ясенева. Все хочет, чтобы я посмотрела. Вот переедем в город, посмотрю.

Катя глубоко вздохнула. Села напротив матери. Положила руки на стол. Загорелая. Очень красивая. Вся с золотистым подсветом. Но глаза... глаза подсвечены не были. Нет. Глаза были погасшие. Только она все это старалась скрыть. И вдруг — перестала стараться.

— Главное в жизни для меня — это мой письменный стол, — сказала она как-то очень веско, точно подытоживая что-то. — И Олеся. Конечно, Олеся. И — письменный стол.

Помолчала.

— Мама, ведь для тебя тоже главное в жизни — это ра-бота?

— Нет, — сказала Ольга медленно и грустно. — Нет, Катенька.

— Вот как? Но ты ведь прожила одна. У тебя ведь были только работа и я.

— Нет, Катенька.

— А что же еще?

Они сидели на открытой террасе. Был конец августа. Вечер. Золото вечернего света как бы отражалось золотом листьев, удваивалось, утраивалось в нем и направлялось прямо в душу, прямым ходом в самую сердцевину... Вершины деревьев розовели, цвет сгущался, пунцовел, становился весомым до ощущения тяжести. А потом медленно-медленно, точно разматывая волшебный клубок, истончался, испарялся, опрозрачивался и тишел... И вместе с этой тишиной и прозрачностью приходило чувство своей нездешности, то есть не-только-здешности, неприкованности к этому месту. На глазах у Ольги выступили слезы.

— Вот это, — сказала она. — Вот оно — самое главное!

Катя смотрела на нее очень пристально. «Ах, если бы

она отвернулась от меня и посмотрела бы вместе со мной!» — беззвучно молилась Ольга. Но Катя продолжала пристально смотреть на нее.

— Про это я понимаю. Это конечно, — сказала она. — Но самое главное? Все-таки, мамочка, это слишком. Природа прекрасна. Но... только если кто-то рядом есть. А когда один на один...

Она вдруг передернула плечами. Глаза ее смотрели на какую-то им одним видную картину и были сейчас как-то нехороши. Это кольнуло Ольгу в сердце. Нет, нехороши...

— А может быть, это просто компенсация за неудачу в личной жизни, — сказала Катя.

Вот и выскочила наружу эта нехорошсть глаз. У Ольги сдавило горло. Она молчала. А Катя продолжала:

— Нет, мамочка, я все это понимаю. Но говорить, что это самое главное... Ну, нет! Главнее работы? И главнее меня?

Ольга оторвала глаза от угасающего неба и посмотрела на Катю в упор:

— Главней всего моего, доченька. Слава Богу, что у меня есть что-то, что главнее всего моего: и моей работы, и даже... тебя.

Катя как-то заморгала своими подзолоченными ресницами и вдруг спросила:

— Когда будем переезжать с дачи? Ведь тебе уже вот-вот на работу выходить?

Кинула вопрос и задумалась, точно сама же него и забыла И стала глядеть на вбежавшую на веранду Олесю. А мать - на нее.

«Неужели у нее с Романом разлаживается? Господи а может все-таки еще возможно вернуть все с Антоном?» Как бы Ольга хотела этого! Это была ее тайная мечта, но... не- сбыточная она это чувствовала и даже боялась мечтать. Да и хорошо ли это будет теперь? Кто знает?

— Посмотри, мама, я привезла фотографии.

Катя стала показывать коктейбельские виды и себя с Романом на фоне моря и гор. Господи, как она им любовалась, какими глазами глядела! Что-то у них, может, и произошло, но она еще вся поглощена им. Ни о чем другом и думать нечего.

Но вот Катя сложила фотографии, вздохнула. _ А все-таки Олеся и работа главное всего,-сказала она как-то веско и сухо и вдруг засуетилась: - Мне надо бежать на станцию звонить Роману. Он должен успеть договориться насчет машины. Что ему сказать? Когда переезжаем в субботу или раньше? Может, в четверг?

— Нет, раньше субботы не надо. - Ольга замолчала, потом вдруг посмотрела на Катю и почти прошептала: - Катенька...

— Что, мама?

Ей очень хотелось сказать: «Подойди ко мне». Но она не говорила. А Катя стояла, прислонившись к столбу веранды.

Потом вздохнула:

— Ну, хорошо, я пошла.

Ольга осталась сидеть неподвижно. Слышала, как застучали по деревянным ступенькам крыльца Катины каблучки. Хлопнула калитка. И она все еще ждала, что Катя обернется, воротится, воротится. Нет, не обернулась. Нет, не воротилась. И вдруг голова Ольги упала на руки:

- Девочка моя... - но уже не было слышно Катиных шагов.

* * *

Антон гулял с Олесей в Ясеневском лесу. Было светлое и теплое воскресенье раннего октября. Осень совсем вызолотилась, высветлилась, просквозила лес. Ах, каким он был прозрачным и пронзительным! Как будто открывал вдруг путь сквозь и через, вот туда, куда всем надо идти. Да, лес открывал этот Путь, скидывая лишнюю тяжесть с деревьев, чтобы высвободить их. Обнажить и высвободить. «Господи, как хорошо не бояться обнажения, — думал Антон, — все сбросить до самой души и вдруг понять, что вот она-то никуда не сбросится. Никуда и никогда. Удивительное чувство...»

Листья летели, кружились и падали. И это тоже было удивительно, как музыка. И он подумал, что вот здесь и есть исток музыки. Здесь Она зачинается. Листья... листья были сейчас как легкие звуки. Они не боялись упасть и уйти, как звук музыкальной фразы не боится исчезнуть. В их движении — Музыка. Звук проходит, чтобы Она была. А там, где есть музыка, там есть и каждый звук.

«Удивительно... удивительно», — думал Антон, осторожно сжимая маленькие пальчики своей девочки и чувствуя от прикосновения к ним неправдоподобное блаженство. Она притихла и брела с отцом вместе, как будто тоже задумалась о чем-то. Когда он взглядывал на ее личико, то удивлялся его отсутствующему выражению. Она была не в этом месте; а где? — Всюду... Всюду. И он не хотел ее окликать, пока она сама не пробуждалась вдруг и не начинала задавать свои вопросы. Впрочем, редкие, ненавязчивые. Начинала смеяться оттого, что ветер «щекотится», и так уморительно сморщивала свой носик, что ни на что, кроме этого носика, Антон уже смотреть не мог. Они смеялись вместе и снова затихали и брели дальше.

И вдруг он заметил вдали, под деревом, одинокую женскую фигуру. Она стояла в профиль к ним, в черном пальто и каком-то светло-сером платке, и, склонив голову, задумчиво разгребала мыском сапожка сухие листья. Антон с Олесей брели по направлению к ней, и Антон смотрел на нее, как на часть пейзажа, совершенно вписавшуюся в него, неотделимую от этих падающих листьев, голых веток... Как вдруг, почти поравнявшись с женщиной, он застыл на месте.

— Рута !..

Она подняла лицо. Улыбнулась так, точно совсем не удивилась, но как-то тихо стояли совсем без слов. Потом она взглянула на Олесю.

— Большая... Ну, как ты живешь?

— Вот, квартиру получил в Ясенево.

— Квартиру? Вы в Ясенево переехали?

— Нет. Я один живу. А Олеся только гостит у меня.

— Вот как?

— Ну а ты как живешь? - медленно спросил он.

— И я одна, — ответила она так же медленно.

— Ты? Как же это?!..

— Так, - сказала она и замолчала.

— По твоей инициативе или по Левиной?

— По моей...

Вот как ... У тебя же была такая железная теория, прямо марксистская, - вдруг усмехнулся он. - Разве такие теории рушатся?

Да, именно такие и рушатся, - сказала она почти шепотом - Все теории рушатся. Вот сейчас занимаемся разменом квартиры.

Она была очень бледна. Лицо какое-то бесцветное, и вовсе некрасивое, и этот серый платок совсем не шел к ней, чужой какой-то... И вдруг глаза ее поднялись и остановились

на нем. И в сердце его что-то дрогнуло.

«Похудела, кажется, - подумал он. - И -без сигареты... — Это было хорошо. Это было ближе к лесу. Вообще, в лесу она другая, совсем другая. И то, что некрасивая это неважно — Это пройдет, - вдруг почувствовал он. —А лес при ней - такой же, как без нее. Не прячется. Бывают люди, при которых лес прячется,» - это он знал.

— Ты часто здесь гуляешь? — спросил он.

— Д-да, довольно часто. Только я с другого конца приезжаю. С Балаклавского. Я люблю этот лес.

И вдруг ему показалось, что она давно стояла здесь и только и поджидала их.

— Господи, как дочка на тебя похожа! - сказала она.

— По-моему, ты замерзла, - заметил Антон. - Нам уже домой пора. Я тут совсем недалеко. Может, зайдём. Она кивнула.

Он взял Олесю на руки. Олеся не сопротивлялась. Склонилась головкой к его плечу. А Рута заглянула ей в лицо и вдруг поцеловала у девочки ручку.

Дошли до нового шестнадцатизэтажного дома, стоявшего на краю леса. Антон жил на одиннадцатом. В его полупустой квартире было светло и чисто... Огромное окно с балконной дверью и небо во всю комнату.

— Сколько неба! — тихо сказала Рута.

Поели. Уложили девочку на кресло-кровать и молча сели на диван. Антону хотелось что-то еще спросить, сказать, но все труднее было прерывать молчание.

Наверно надо что-нибудь сказать,

Да очень уж не хочется дробиться....

— вспомнил он строчки из стихов, которые читала ему не так давно Ольга Алексеевна. Так и просидели, пока не проснулась Олеся, не двигаясь, молча.

А когда она проснулась, Антон сказал:

— Я должен отвезти ее к бабушке. Так договорились. А через два часа я буду обратно. Подождешь меня здесь?

Она кивнула.

— Тут... книги есть... хорошие, — как-то неуверенно сказал Антон.

Рута посмотрела на него и покачала головой:

— Не надо... Ничего не надо. Я... буду в окно смотреть.

Когда он вернулся, она так и сидела, не зажигая света.

Огромное окно с балконной дверью было все в звездах. И казалось, что комната полна звезд.

Он подошел и сел рядом с ней на диван. И снова стало тихо-тихо...

Она повернула к нему лицо. В глазах стояли слезы. И тогда бережно, так, чтобы не нарушить той внутренней тишины, он привлек к себе ее голову, глаза, губы... всю ее...

— А знаешь, — сказал он потом, — знаешь, ведь если бы Катя приняла меня, я бы к ней вернулся и мы бы никогда так не встретились.

— Знаю, — сказала она. — Я это все поняла, когда мы расстались... Я поняла, что ты из тех, кто не может предать. И что я люблю тебя. Совсем люблю. Как никого. Никогда, — и тут она вдруг заплакала.

— Знаешь, ведь я была раньше совсем, совсем не такая, как тогда, когда мы встретились. От одной мысли, что это может быть не на всю жизнь и не во всю душу, от одной мысли об этом я была близка к самоубийству. Да, да, представь себе. Это я-то... Но это, может, и есть я.

Часть III

«Как это все так сплелось? — Анка не могла ума приложить. — Антон и Рута...»

Рута, Берута Сизова была близкой подругой Анки. Работала она в их же театре, театральным художником. Анка, кажется, все о ней знала. И тут на тебе — Антон! Был кто-то, из-за кого Рута оставила своего Леву. Но этот кто-то был женат, а Рута поняла вдруг, что если не он, так никто. Ушла от мужа, жила одна. И вдруг приходит в театр с Антоном и знакомит Анку: мой муж. На Анкино изумление ответила чуть заметной улыбкой. Потом отвела ее в сторону:

— Ну, чего ты рот раскрыла?

— А как же тот, из-за которого ты Леву оставила?

— Это тот самый и есть.

— Так это же Антон!

— А ты что, его знаешь?

Знает ли она Антона?!

Анка пришла домой совершенно взъерошенная.

— Ты пойми, — говорила она Сергею.. — Рута вышла за нашего Антона, а я ничего не знала!

Рута... Ну, конечно, у Руты все в конце концов должно было уладиться. Потому что это — Рута. Она как-то удивительно просто и гармонично разрешала все вопросы, в которых безнадежно запутывалась Анка. Но ведь Рута и сама, наконец, запуталась?..

Настал такой момент в ее жизни... Нет, и тут не запуталась... Просто взяла и повернула на сто восемьдесят градусов, когда ей это нужно стало. Ей как-то всегда все о себе ясно. А Анке ничего о себе не ясно. И что ей с собой делать?

Рута сколько угодно изменяла своему мужу и умудрялась оставаться с чистой совестью. И какие у Руты были сны! Целые сказки. Действие — на небе. Если судить по Фрейдю, Рута — чистая голубица, а она!.. — Анка вдруг села на пол около своей кровати и стала колотить руками подушку. «Вот кто такая я, вот кто! Почему мне снятся такие сны и почему, почему вообще мне нужен кто-то. Кроме Сергея?!»

Сергея она любит. Она в этом совершенно не сомневается. Жить без него не может. Но почему ей его одного мало?!.. Что с того, что она никогда ему не изменяла? Если в мыслях ее, в сердце ее постоянно присутствует еще кто-то. О, не глубоко! Так не глубоко!.. Глубоко – только он. Но почему то, что глубоко, не вдохновляет? А ей для вдохновения постоянно нужно что-то еще...

А Рута говорила: лучшее средство избавиться от искушения - это поддаться ему. «Я уже не помню ничего, во мне нет того, что было. А у тебя не было, а все еще есть. Может, она права? – начинала думать Анка, как вдруг произошла эта поразительная перемена в Руте.

Как будто совсем другой человек появился. И как-то побледнела, подурнела она... Впрочем. если присмотреться, то и не подурнела вовсе. Просто ей не до себя стало. Точно совсем себя не видит, не чувствует. Тихая стала. И с ней стало тихо. Если говорить правду, - Анка никогда не любила ее так сильно, как в то время. Анка присматривалась и прислушивалась к ней и одновременно к себе самой. Но чтобы «тот» ее «роковой» оказался Антоном! Этого уж Анка никак не ожидала. А ведь и с Антоном произошло что-то особенное, - начинала сопоставлять Анка, и все больше и больше волновалась.

- Сеоежа, ты понимаешь что-нибудь, Сережа? - говорила она быстро расхаживая по комнате взад и вперед, и вдруг обнаружила, что что Сергей целиком ушел в книгу и не слушает ее. - Как? - она внезапно остановилась и разразилась слезами. Тогда он вскинулся.

- Ну, что с тобой, Аннушка, детка? Ну, что ты?

- Так ты всегда, так ты всегда, пока чего-нибудь не случится ты не обратишь на меня внимания, а если случится...

- Глупая, глупая, глупая моя. Если б ты знала, что я читаю! Я хотел тебе прочитать. Я хотел... Вот ждал только, когда пройдет твоя буря в стакане воды... Твоя обычная буря, -мягко улыбнулся он.

— Буря в стакане воды! В стакане воды! Обычная!.. Для тебя все — стакан воды и все — обычное. И я обычная, и наши отношения обычные.

— Анка!

— Ну что — Анка? Ну, что?

Слезы размазались по лицу, повисли на кончике носа, как у ребенка.

— Ну... что ты?

Анка всхлипывала совсем как девочка и ничего не отвечала. Потом вдруг сказала:

— А ты не думаешь, что я могу влюбиться в кого-нибудь?

Сергей пожал плечами: — Когда влюбишься, тогда и буду думать. А сейчас не думаю и думать не хочу.

И Анка вдруг притихла и поняла, что больше расходиться нельзя, что сейчас все разобьется о скалу. Время от времени в нем появлялась такая скала. И, пожалуй, это хорошо, что есть преграда всем ее волнам. Это хорошо...

— Ты поел? — вдруг присмирив, спросила она.

— Нет, тебя ждал.

— Ну, так давай обедать. И расскажи мне, что за книгу ты читал.

Сергей спас ее когда-то. Было время, когда она была связана с человеком, разрушавшим все, что он любил. И ее бы разрушил. Еще как разрушил бы, если б не Сергей. Сергей ничего для себя не хотел, был ее наперсником, братом, удивительно бескорыстным и в то же время сильным. Может, именно это бескорыстие и было его непонятной силой. Анка ясно увидела, что хотя он и любит ее, но как-то по-особому. Ему ничего, совсем ничего для себя не надо. А только — для нее. «Неужели так можно?» — стала она думать, все более всматриваясь в него. И стала учиться у Сергея этому бескорыстию и незаметно полюбила его. И вдруг все и всех увидела в другом масштабе, в настоящем своем масштабе. И показалось, что раньше она была слепая или дальтоник, что ли. Сергей — это сокровище. Это она знала теперь твердо, но... почему же то первое удивление, потрясение даже, прошло? Как нарушить будничность их отношений?

— Вот если бы все было как в первые дни!.. — говорила Анка Ольге Алексеевне.. — В глубине, может, так и есть. Но это так глубоко запрятно, что и не докопаешься. Понимаете, мне нужно что-то еще для...ну, для настоящего дыхания. И – свинство это! Ведь он каждую мою роль наизусть знает. Почти на всех репетициях бывает. А если б не работал – на всех бывал бы. Но и так – во все входит. Точно у меня всюду с собой собственный кондиционер. Так помогает. А я...Ну, что я за человек, Ольга Алексеевна»?!

- Придется уж примириться, какая есть, - говорила Ольга Алексеевна.

- Вот я думаю часто: вы – одна и вам себя хватает. А я...

- Мне вот этого хватает, - сказала Ольга, показывая на незаконное пространство.. - меня достаточно. „Jch habe genug“ – это слова из баховской кантаты, - пояснила она и перевела: - «Я имею достаточно, с меня довольно».

Анка молчала и смотрела на нее.

- Я знаю, что вам достаточно. – сказала она через некоторое время. – Но вы... у вас всегда полное сердце. А у меня – то полное, то пустое, то опять – полное, то опять пустое. И вот мне надо его чем-то новым наполнить? Или кем-то. А мне хочется, чтобы одним Сергеем.

- Одним Сергеем? Да разве сердце можно одним человеком заполнить? Каким бы он ни был?

- А разве нельзя?

- Ну что ты? Чтобы заполнить сердце, нужна Бесконечность. Целая Бесконечность. А человек, всякий человек имеет свои рамки, свои границы. Если ты ждешь, чтобы твое сердце кто-то другой заполнил, тебе всегда будет мало одного. И двух, и трех – всех мало. И начнется дурная бесконечность- от одного к другому и так без конца. - Она помолчала.

Потом добавила: - Искать полноту сердца в другом... Это все равно, что искать свое отражение в зазеркалье.

— Но ведь Мастер совершенно заполнил сердце Маргариты. Хоть и один человек. Только он и вернул ей смысл жизни.

— Да, конечно. И все-таки они не замыкались друг на друге. Было еще что-то Третье, что больше них обоих. что-то Третье, что больше них обоих.

— Вот как Что же это? - Анка попробовала сама подыскать ответ, но Ольга Алексеевна тихо продолжала:

— Недаром же там роман в романе. Мастер пришел куда-то, куда и Маргарите нужно прийти. Вернее, он не пришел, а идет, путь нащупывает.

— Куда же? В Ершалаим? В те времена?

— В себя. В свою собственную душу. Там только и есть Бесконечность и полнота бытия.

И она прочла Рильке:

Боги сначала обманно влекут нас к полу другому,

Как две половинки в единство.

Но каждый восполниться должен сам.

Дорастая, как месяц ущербный, до полнолуния.

И к полноте бытия приведет

Лишь одиноко прочерченной путь

Через бессонный простор.

Наконец-то состоялась премьера «Мастера и Маргариты» в театре-студии. Она очень долго готовилась. Много раз откладывалась. И вот — наконец! Это было событие.

Анка, Анна Пеночкина в роли Маргариты потрясла всех. «Наша Пеночка-то — полетела как орлица», — сказал один из актеров. А зал аплодировал неистово, небывало. Только сама она выходила на аплодисменты какая-то отсутствующая, точно все это не к ней относилось. Принимала цветы почти механически, как будто и не замечая их.

Когда Ольга пришла к ней в уборную, Анка была тихой-тихой. Постояла, положила голову на плечо Ольги, а потом сказала: «У меня уже не было сил ни на что. И на радость тоже. А теперь, кажется, есть. Все сейчас собираются у нас. Так что — к нам, Ольга Алексеевна! Нет, нет, нет, — испугалась она, не вздумывайте отказываться. Я без вас сейчас совсем не могу».

Ольга не могла сопротивляться. Поехало много актеров во главе с режиссером, игравшим Воланда, Рута, художница спектакля, Ольга, Катя с Коршем. Антон подошел, поцеловал руку Анке, шепнул: «Прости меня. И за себя, и за Сергея прости!». Но Анка вдруг расцеловала его и сказала, что не отпустит: «Я хочу, чтобы сегодня все мои были со мной. Чего уж теперь? Все все знают. И кажется, всем хорошо. Поедем».

Но он не поехал. Вот только его из близких не было.

Больше всех говорил Роман Андреевич Корш. И кому же говорить, как не ему, , главному специалисту по Булгакову.

Он хвалил Иешуа, очень хвалил режиссерское решение спектакля, но больше всего – Анку.

- Анна Романна, за вас – почти торжественно звенел его голос. – Анна Романна дала нам возможность увидеть великую женщину. Эта женщина не побоялась самого Сатаны! И он ее короновал. Она была действительно хозяйкой в доме у Сатаны. Честно сказать, я не верил, что найдется актриса. Способная это сыграть. Такой жар и такая сила! - уму непостижимо...

- Анна Романовна, за вас, аа полное, воплощение Маргариты в жизни!

Анка чокнулась, улыбнулась, благодарно кивнула. Но она была явно смущена и не совсем понимала, что ей отвечать. И вдруг так вот и сказала:

Что-то меня смущает во всем этом. И я не совсем понимаю, как ответить. Не слишком ли вы щедры, Роман Андреич? И ко мне, и к Маргарите. Вас послушать, так выше Маргариты никого и нет, а ведь вот Булгаков считал, что она Света недостойна, только покоя.

- Как и сам Мастер вставил Корш.

- Ну да, как и сам Мастер. Ну, что ж, может, и Мастер не самое высшее. Конечно, не самое.

- Ну а что же – Самое? Кто ж - Самое? – Роман Андреевич откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу и пристально глянул на Анку. Чуть чуть улыбаясь, глядел одновременно восхищенно и покровительственно.

- Кто высшее? Иешуа, наверное, - неуверенно сказала анка.

- Ну, разумеется. Этого я и ждал. А не задумывались ли вы, моя драгоценная Маргарита Николаевна, то есть Анна Романовна, - улыбнулся он, - не задумывались ли вы над тем,

что сам Иешуа просит Воланда за Мастера и Маргариту. Ну о чем бы он ни просил, но ведь он просит, а не приказывает. Высший-то ведь приказывает. Не задумывались ли вы над этим?

Анка молчала. И все молчали. Первой заговорила Ольга Алексеевна.

— Иешуа не может приказывать, — спокойно сказала она. — Если он Богочеловек. Бог — это не власть. Бог есть Любовь, а Дьявол — это власть.

Роман Андреевич смотрел на нее несколько ошеломленно.

— Чрезвычайно интересная мысль, — наконец сказал он. — Чрезвычайно интересная, но, может, вы все-таки поясните нам, Ольга Алексеевна?..

— У Бога нет внешней власти, — так же спокойно продолжала Ольга. — Он — внутренний господин. Не внешний. Он в этом мире не распорядитель. Не Он князь мира сего.

— Очень интересная мысль, — опять сказал Роман Андреевич, но как-то менее уверенно. — Ольга Алексеевна, а скажите, много ли дьявольщины в Воланде? Такое уж ли он воплощение зла? Не карнавал ли это скорее, пользуясь бахтинской терминологией?

— Да, я тоже думаю, что он — не воплощение зла, — ответила Ольга Алексеевна. — Скорее демон возмездия, карающая сила, исполнитель божественной воли.

— Так все-таки он исполняет волю Бога, по-вашему, а не свою собственную?

— Да, не свою. Он просто на страже божественных законов.

— Так что он только сила в руках Бога. А сам по себе, так сказать, ничто?

— Да, ничто. То есть сосуд, только сосуд, как и все мы, впрочем...

— Ну, а если бы он ослушался? Если бы он не стал выполнять то, о чем его просят, а поступил бы по собственной воле, тогда как? Тогда он уже не ничто? Как по-вашему?

— Нет, именно тогда-то он — полное ничто, совсем ни-что. Сосуд, ничем не наполненный.

— Что-то я вас плохо понимаю. Может, вы хотите сказать, что Дьявола и вовсе нет?

— Как сущности, в глубине бытия его действительно нет.

— Великолепно! Вас послушать, так Берлиоз с Бездомным вполне правы. Но не можете же вы в самом деле так думать?

— Берлиоз с Бездомным не о том говорили. Они о сущности бытия, о вечном бытии вообще ничего не знали. Они, собственно, утверждали, что сущности нет, что нет вечного бытия.

— А вы знаете, что оно есть и что оно — только одно сияющее добро? Так я вас понял?

— Так. Наверно, так. — Ольга сказала это с некоторым трудом. Точно ее вынуждали говорить. Тот оттенок иронии, который явно вносил в разговор Роман, был ей сейчас мучителен. Но в лице Романа мелькнуло что-то мрачное, даже угрожающее. Он тяжело посмотрел на нее, и она не отвела взгляда.

— Значит, в вечном бытии дьявола нет, — четко разделяя слова, сказал он. — А где же Дьявол есть и есть ли он вообще?

— Ну и дискуссия у нас! — сказал молчавший все время хозяин дома Сергей. — У Достоевского спорили, есть ли Бог, а у нас — есть ли Дьявол. Это в его-то век!

— Да, в его-то век, — повторила Ольга. — Разумеется, он есть, потому что мы его все время создаем.

— Мы создаем Дьявола?! А он сам... сам по себе, без нас не существует? Вы хоть немного имеете понятие о его силе?! Вы знаете, о чем говорите?

Роман вскочил. Он был бел. Он застыл со вскинутой рукой. Напряжение дошло до такой степени, что, казалось, вот сейчас, в этот миг, откуда-то вынырнет нечистая сила, опрокинет стол, погасит лампу, закружит людей в воздухе. Сейчас раздастся чей-то внезапный крик... Но ничего этого не произошло. Только в тишине опять раздался голос Ольги Алексеевны:

— Да, мы создаем Дьявола. Бог создает нас. А мы создаем Дьявола. Он — наше создание. Наша тень.

— Это дьявол — тень?!

— Да. Именно. А вам кажется, что он — высшее начало?

— Ну, это вы упрощаете. Я не говорил, что он — самое высшее начало. Все не так просто. Бог и Дьявол равновелики. Я думаю что всякая другая модель - упрощение. Да многоуважаемая. Поверьте, я действительно вас премного уважаю, - сказал он грациозным и вполне почтительным полупоклоном, - но я думаю, что вы несколько упрощаете картину мира.

Он вдруг успокоился. Вошел в себя. На лице его снова появилось выражение глубокой уверенности. Власть имущий... Впрочем, не совсем. Если присмотреться, можно было увидеть леткий нервный тик у левого глаза, и пальцы левой руки еще слегка дрожали, отстукивая что-то на коленке.

- Это – ваша? – обратился он к Анке, указав кивком головы на гитару, висевшую на стене.

- Сережина, - улыбнулась Анка, радуясь перемене темы.

- О Сергей Леонидыч, может быть, вы нам споете?

Сергей молча встал, взял гитару и стал петь песни Окуджавы. Голос у него был несильный, но верный. Спел две песни, наступило какое-то удовлетворение. И вдруг Роман Андреевич сказал:

- А вы позволите и мне на пару песен гитару? А потом я снова отдам.

- Сделайте одолжение, - Сергей протянул ему гитару. Роман встал с дивана, пересел на стул, слегка отодвинулся от стола и запел:

Что затуманилась, зоренька ясная?

Травы покрылись росой.

Что призадумалась, девица красная?

Очи блеснули слезой...

Какой у него оказался баритон! Но главное - какой артистизм! «Крысолов, ах ты, Крысолов!» - подумала Ольга, не силах отвести от него глаз. И вдруг взглянула на Катю. Она сидела мертвенно бледная, ни кровинки в лице. В Ольге стукнуло сердце и больно заныло. А Роман между тем пел:

Много за душу твою одинокую,

Много я душ загублю!

Я ль виноват, что тебя, черноокою.

Больше, чем душу, люблю?

Ня протяжении всей песни он смотрел на Анку и вдруг, перейдя к последнему куплету, повернулся к Кате и пропел это явно ей одной, точно в комнате больше никого и не было. Катя зарделась. Ольге показалось, что вот-вот на глазах ее выступят слезы. Сейчас выбежит и расплачется... Но нет, сидит. Закурила.

— А не податься ли нам, господа, к цыганам? — царственно предложил Роман. Широко улыбнулся и запел:

Дорогой длинною,

С подругой юною

Да с песней той.

Что вдаль летит, звеня.

Да с той старинною

Да — семиструнную,

Что по ночам так мучила меня...

И вдруг все застолье начало ему подпевать:

Ах тари, тари, тари,

Ай тари, тари, там...

Он царил. Он действительно был магом сейчас. Как он пел! Как владел сердцами!

— Роман Андреич берется нам доказать, что с дьяволом не так-то просто справиться, — сказал кто-то за столом.

— Да, да, Роман Андреич докажет все, что хочешь, — подхватила молоденькая актриса, восторженно глядя на Корша. — О, Господи! Вот праздник-то!

— Пожалуй, подобное я испытывала только, когда Ольга Алексеевна летала, — сказала Анка, слегка опьяневшая и удивительно похорошевшая.

— Что?! — раздалось сразу несколько голосов.

— А вот — то. Вы ничего не знаете, — смеялась Анка. — Ольга Алексеевна — летала. Она и сейчас может. Это я точно знаю. Ольга Алексеевна, покажите, а?

Ольга сидела совершенно спокойно, только в глазах появились затаенные искорки. Вот-вот вырвутся в целое пламя.

— Ольга Алексеевна, взлетите!

— Это ты брось, Аннушка, этого я делать не буду.

Роман Андреевич повернулся к ней всем корпусом.

— Вы интригуете нас, Ольга Алексеевна. Что значит: не буду? Значит, можете?

— Эх, Ольга Алексеевна, показали бы! — не унималась Анка.

— Анка, оставь!

— Не будете. Вижу, что не будете. А жалко. Ну тогда я расскажу, как это было. Мы в школе сказку ставили. И там фея должна была летать. И мы спорили. Как это сделать.

Мальчишки уже придумали целую конструкцию. А Ольга Алексеевна сказала: «Ничего этого не надо, надо просто взять и полететь. А ну-ка, давайте Моцарта!» Она встала посреди сцены, подняла руки, сделала шаг, другой... Ну- полет это был и все. Вы же и сейчас это можете. Вы же позавчера мне показывали. И как!

— Ты пьяна, моя девочка, сказала Ольга. Но в глазах ее по-прежнему затаились искры.

— Ольга Алексеевна, просим!

— Нет.

Она сказала это твердо. Искры погасли. Глаза потемнели.

— Жаль, жаль, - сказал Роман Андреевич. — А то вот как раз мы и доказали бы с вами содружество высших начал: темного и светлого. А так за одним темным первенство...

— Почему это - темным? Вы не темное, сказала все та же молоденькая актриса.

— Ну, деточка... – Роман окинул ее взглядом и произнес речитативом:

Много за душу твою одинокую

Много я душ загублю!

Я ль виноват, что тебя, черноокою.

Больше, чем душу, люблю?

Несколько секунд смотрел молча, потом сказал:

— Как не темный? Темный...а виноват ли я, скажите? Что такое я сам – против этой силы? Против этакой силы?! Нет, дорогая Ольга Алексеевна, все не свести к чему-то одному. Мир - это вечная борьба сил. В мире два полюса. А не один. Два высших начала. А не одно. Два равноправных и равновеликих начала. И слава Богу, что есть оба. Это и делает мир таким многомерным и непостижимым. «Я ль виноват?»... Виноват? Скажите! С точки зрения морали – да. Но вот тогда ни песни, ни жизни, ни праздника не будет. - Скука!

— Вы думаете? — Ольга Алексеевна глядела на него и то же время куда-то дальше, как бы сквозь него.

— Думаю, Ольга Алексеевна, думаю.

— А я не так думаю. Не обязательно губить душу, чтобы песня была и скуки не было.

Роман просверлил ее взглядом и чуть усмехнулся:

— Любовь настоящая не взвешивает и не мерит, Ольга Алексеевна. Она обязательно перельется через край, в рамки не уместится. Это — как у Маргариты — душу можно черту отдать, и к самому дьяволу в гости пожаловать. А что сделаешь? — он развел руки, — это больше нас, больше души. Вот это любовь! Только это и любовь, когда больше, чем душу, любят.

— А по-моему больше — не к чему, просто всей душой.

— А не пресновато ли, Ольга Алексеевна? А не маловато ли?

Ольга Алексеевна чуть улыбнулась и сказала:

— Знаете, у Пришвина есть такой рассказ про пастушонка. Пришел к нему писатель, присел где-то там с ним рядом на бочаге и прочел пастушонку свой рассказ. А пастушонок ему говорит: «Я бы не так написал. — А как? — Я бы так написал, что сижу я на пеньке, а утки: "свись, свись, свись" — и так всю ночь. — А дальше? — спрашивает

писатель. — Все. Дальше ничего, — говорит пастушонок. — Больно коротко. — Коротко?! Что ты! Всю-то ночь!»

Вот я так же скажу: маловато? Что вы! Это всей-то душой?

Роман не улыбнулся. Он молчал и как-то задумчиво глядел на Ольгу Алексеевну.

— А мать у тебя все-таки великолепна, — сказал Роман, когда они с Катей были уже дома. — Великолепна... Но я надеюсь сломать ее уверенность.

— Мамину? — Катя подняла бровь. — Вряд ли это у тебя выйдет.

— Я бы хотел встретиться с ней один на один.

Катя слегка поморщилась.

— Что, детка, уж не ревнуешь ли ты? Надеюсь, что в этом случае я вне подозрений?

Он улыбнулся, привлек ее к себе. Катя слегка отстранилась.

Роман сладко зевнул:

— Ох, как спать хочется!

И заснул мгновенно, как только лег. А она никак заснуть не могла. Лежала на спине и смотрела в потолок. И такая тоска сжала вдруг сердце. «Ромась, а Ромась», прошептала она и замерла – а вдруг проснется? Нет. Спит. Слава Богу... Не надо его будить.

По щеке проползла слеза. А за ней – другая. Что за блажь ей пришла в голову: прижаться к нему и спросить: «Ромасик, Ромочка, ты меня... любишь?»

Она вдруг представила себе его оторопь. И еще раз обрадовалась, что не разбудила. Он ведь рассердился бы и начал бы спрашивать, какие основания он подал для сомнений. Ах, никаких. Но... в чем она должна не сомневаться? Вот это несомненное, есть ли оно? Ну, понимаешь, мне холодно, скверно мне. Мне выть хочется, Рома... Ну, почувствуй, ну, проснись. А? Спит. И что она хочет от него? Устал, конечно. Пусть спит. И она устала. Ну да, теперь он может прожить без нее и три часа, и тридцать три, и больше... Ей кажется сейчас, что он пил ее жадно, без передышки и – напился. Может быть, в ней и вправду ничего не осталось?

На стене и на потолке качалась тень от фонаря. Свет мягко освещал комнату, как ночник. Она вдруг приподнялась на локте и посмотрела на Романа. Он спал с чуть приоткрытым ртом, и она впервые подумала, до чего он разный, когда спит и когда

лицо глядит. Точно и не его лицо вовсе. Точно оно – не одето. Господи, да он что, когда встает, то и лицо надевает?

От этой мысли стало вдруг чуть смешно. Она улыбнулась. Потом зевнула. «Ну, что я, в самом деле, пусть спит...». Неодетое лицо... Вот когда наденет лицо, тогда и поговорим. И в самом деле спать надо. Почему ей казалось, что она не сможет заснуть?

Слава Богу, сможет. Она повернулась на бок, и постепенно пришел сон.

А Роман Андреевич все-таки попал в квартиру к Ольге Алексеевне. Не та-то просто это оказалось. Почему-то она не очень хотела. Но вот он здесь. И ему здесь очень нравится.

Зашел, осмотрелся и сам удивился, до чего тут хорошо. Главное — тихо. Однокомнатная квартира в хрущевской пятиэтажке. Стены, как фанерные перегородки, а какая здесь тишина! Она прямо охватывала, как только переступишь порог комнаты.

Ни одной лишней вещи. Уютно. Дом на холме, на окраине. Вокруг нет других домов. В окне большой каштан и небо. Хоть всего третий этаж, а вид огромный.

На письменном столе стоят два портрета. Отец и мать. Роман поглядел на фотографию матери, молча подивился ее красоте и сел на тахту. И тут увидел в изголовье икону Богоматери. Удивительная икона, старинного письма, на глазок не позже XVII-го века — определил он.

— Откуда у вас такая ценность?

— Чудом уцелела. Бабушкина.

Ему все больше нравилось здесь. И в то же время охватывала какая-то печаль. «Вот где сработала машина времени», — подумал он про себя и потом проговорил вслух.

— Что? Что? — не поняла Ольга Алексеевна.

Роман Андреевич улыбнулся какой-то очень хорошей открытой улыбкой, какой она у него, пожалуй, и не видела, и сказал:

— У нас с сыном такая игра есть. В машину времени. Раз в неделю отправляемся в машине времени в путешествие. Иногда и чаще. Нам обоим это нравится больше всего на свете. Вот сейчас у вас я ощутил такое путешествие. Но это уж не я сам, а кто-то для меня устроил.

У него был сын от первого брака. Роман ушел от первой жены, когда мальчику был год, но сына любил бесконечно, и что бы ни было в его жизни, Темка не забывался никогда. Во втором браке своих детей не было. Но дочка жены была так привязана к нему, что именно из-за нее он долго не мог решиться на разрыв. Детей он подружил.

— Знаете, нам ведь втроем очень хорошо, — сказал он Ольге Алексеевне. — Но все-таки нам с Темкой надо было и вдвоем быть. Нет, не потому, что родной, — мужчина! С Леночкой я тоже вижусь и сейчас. И это особо... А Темка — особо.

— Сколько Теме?

— Двенадцать.

Он помолчал.

— Вот вы думаете, Ольга Алексеевна, что я чту темные силы, всю эту дьявольщину....а знали бы вы, как мне нужны светлые, как я по ним тоскую! Разве я с тьмою к ребенку прихожу? Что вы...

Все в нем сейчас было естественное, простое и даже какое-то беззащитное. Ей вдруг показалось, что он к ней пришел за помощью. И даже что-то шевельнулось в сердце.

— У вас не стряслось ли чего-то, Роман Андреич?

— А вы... и это угадали? Стряслось. У меня горе, Ольга Алексеевна. У меня брат умирает. Мой старший боат, Дмитрий. Рак. Я у него провожу сейчас почти все свое время. А вот Катюша не всегда верит мне. Нет, она ничего не говорит, но я вижу.

Это была больная точка в душе Ольги – близкий человек, умирающий от рака.

— Для меня, Дима, может быть, то же, что я для своего Темки...

Что-то мелькнуло в глазу. Неужели слеза? И в такую минуту, и с этим он к ней пришел...

— Роман Андреич, дорогой, я так это понимаю...Так понимаю... Как же это Катя... Это даже странно как-то, она не может чувствовать этого.

— Если бы вы знали, как мне нужна сейчас молитва силам светлым, - сказал он очень тихо и поцеловал ей руку.

— Так что не изгоняйте меня, Ольга Алексеевна.

Она вдруг совсем смешалась.

— Знаете что, пойдете в кухню, я вас чаем напою.

— С удовольствием. Это очень хорошо – чаю. И кухня у вас какая прелестная. Как здесь светло и спокойно! Вот куда нечистая сила не заглядывает.

Он уже пил вторую чашку чая, когда вдруг спросил:

— А неужели вы на самом деле думаете, что нечистой силы нет? Неужели вы настолько от нее свободны, что и знать не знаете о ее существовании?

— Я о ней действительно не думаю, - ответила Ольга.

— Это не моя компетенция.

— Я понимаю, конечно. Но это для вас так. Вы родились светлой. Вы под охраной. Вам повезло. О, не сомневаюсь, что вполне заслуженно всей прошлой жизнью души вашей.

Но как бы то ни было, у вас это так. Но не у всех же так.

Он снова помолчал, потом сказал после некоторой паузы:

— А вы ведь говорите, что Дьявола вообще нет, что это мы его создаем.

— Я так действительно считаю, Роман Андреевич.

— Милая моя, Ольга Алексеевна, так что же — все мировое зло мы сами создали? Во всем люди виноваты сами? А ведь зло и до людей было. Разве его мало в природе? Неужели вас никогда не ужасала эта машина для пожирания друг друга, которая и есть природа?

Ольга смотрела на него молча.

Не ужасала?.. Если бы он знал ее юность! Ее кризис, из которого она едва вышла живой, когда казалось, что все-все на свете — страдание и зло, и нельзя сделать шага, чтобы не причинить страдания.

— Ужасала, Роман Андреевич, еще как ужасала, — сказала она едва слышно.

— Ну вот, видите, я и не сомневался в этом. Слишком вы глубокая натура. Так неужели мы, мы сами в этом виноваты? Неужели мы это все создали?

Боже, как невероятно трудно было ему отвечать так, чтобы это были не просто слова... Как трудно...

— Тут надо поверить, — сказала она и замолчала.

— Кому поверить? Богу?

Ей захотелось сказать: «Моей душе». Но она не сказала этого, а только тихо глядела на него с нарастающей печалью.

— Богу поверить, да? — у нее нарастала печаль, а у него — горячность. — Вы это хотите сказать? Он для вас несомненность. Поймите, я это знаю и оценил вполне. Знаю, с кем говорю. Но здесь надо додумать до конца. Поверить? Во что? В Его Любовь или в Его Всемогущество? Ведь одно исключает другое. Ведь если он любит нас, то Он не всемогущ, а если всемогущ, то не любит, не любит! не любит! — вдруг почти закричал он.

Ольга вздрогнула, посмотрела на него по-прежнему с состраданием. На лбу у него выступил пот, он стер его рукой и продолжал уже нормальным голосом:

— Вот я и предполагаю, что Он не всемогущ. А коли не всемогущ, значит есть у Него соправитель. Я и стал к этому соправителю приглядываться. Это реальность. Ее надо знать.

— Рман Андреевич, так, как вы, давно люди думают, это давний выбор – между любовью и всемогуществом.

— Ну и что ж, что давно? А я не гонюсь за новостями. Я за истиной гонюсь.

— Истиной? – Ольга остановилась, на минутку закрыла глаза. – подождем об истине. Но, вы правы, Бог не всемогущ.

Та, так, это уже не ортодоксия.

— Я не гонюсь за ортодоксией. Хотя это и в пределах ортодоксии. Бог не всемогущ в этом мире. Но Он не от мира сего. И в этом все дело.

— Уловка, снова начал нервничать Роман Андреевич.

— Да, нет, не уловка. Бог всемогущ в Своем Царстве, во внутреннем, в Духе. Вот в это и надо поверить. В то, что оно, это внутреннее – прежде всего. Понять тут нельзя. А почувствовать и поверить можно. И если поверить, тогда такое откроется...

— Что же именно?

— Как же мне сказать, если...

— Если я не верю? А вы попробуйте, вдруг услышу.

— Поймите, Бог всемогущ. Но Его всемогущество такое невидимое, как и Он Сам. Почему мы от невидимого Бога требуем видимого всемогущества?

— Невидимое всемогущество? – чуть улыбнулся Роман Андреевич. Посмотрел с легкой горчинкой. - Ну, ну, продолжайте. Невидимое всемогущество...

— Да, невидимое. Его нельзя видеть. В нем надо участвовать.

— Что? Что? – вдруг весь вскинулся Роман.

— Поймите, в нас есть незыблемая основа, стержень, костяк, если так можно уподобить. Да, стержень. Ну, вот. Если мы в это верим, если мы больше всего думаем об этом невидимом стержне, то мы почувствуем, что он остается незыблем, что бы не происходило на поверхности. Это наш внутренний человек, который цел, даже когда внешний весь изранен. Так вот, у нас выбор: верить в это всемогущество внутреннего или во всемогущество земных видимых законов. Вот... Вера во внешнее, то есть в его верховность, во всемогущество внешнего — это вера в смерть. Это противостояние жизни. Такая вера и создает Дьявола.

Он смотрел на нее очень напряженно.

— Вера в плоть — это вера в смерть? Так, да? А вера в бесплотное — это вера в жизнь? Однако, какими парадоксами вы говорите...

— Совсем не парадоксами, — вдруг сникла Ольга. — Но чтобы понять это, нужна готовность на труд и на жертву.

— Вот как?

— Да. Вера во внутренний стержень — это собирание души в единство. Это труд духовный. И жертва. Собранность требует жертвы. Нужно пожертвовать чем-то менее существенным для самого существенного. Меньшим для большего. Частным для целого.

— Позвольте, позвольте, нет, позвольте! — Роман Андреевич вдруг вскочил, как тогда за столом у Анки. — Что это значит: жертвовать меньшим для большего, частным для целого? Что это значит?! — почти проскандировал он. — Это коллектив больше личности, что ли?

— Так меня понимать!.. — сжалась вдруг Ольга.

— А как изволите вас понимать? Как?! Мне братом пожертвовать надо ради чего-то неведомого и Великого? Спи, Дима, для общего блага? Как Авраам — Исаака? Да? Нож занес над сыном, раз Богу угодно. И нам так же?

Ольга вдруг онемела от этого натиска и какого-то перескока мыслей. Почему пожертвовать братом? Зачем об Аврааме?

— Я не о том, — сказала она.

— А я — о том. Для внутреннего, видите ли, пожертвовать всем внешним. Смирение. Покорность. Мы здесь ничего не можем. Все — там, на небесах. А здесь — это малость, это неважно!

Именно в тот момент, когда, казалось, вот-вот может быть переброшен мост доверия, вдруг выросла пропасть. И Ольга застыла на берегу пропасти. Она могла много сказать, но это уже не имело смысла. И она молчала.

— А брат ваш совсем плох? — вдруг тихо спросила она. — Очень мучается?

— Сейчас его лечит иммунолог. У него ремиссия. Но – не надолго это.

Роман вздохнул. Притих.

— Роман Андреевич, о брате – я понимаю. Поверьте, очень понимаю. И тут я умолкаю. Хотя у меня есть свой ответ и очень выстраданный, но он мой, и я его вам не навязываю. А тут...что ж тут рассуждать? Тут одна любовь нужна, больше ничего.

— Но вот что я хотел спросить: это что, Бог так Диму мучает? Это Он? За что?!

— Роман Андреевич, вы ведь Бога своим должником считаете. Не вы должны что-то Богу, а Он вам должен. А если не исполняет всех ваших желаний, то и не всемогущий. Раз Он долгов вам не платит, значит – банкрот. А, может, Он вам и не должен ничего? Разве вы Ему что-нибудь дали, что считаете Его своим должником?

— Что же я могу дать Ему? Не я создавал эту жизнь. Не я заводил эти порядки. Не мне отвечать за то, чего я не творил. Что я могу дать Ему? Скажите, если знаете.

— Видите ли, для вас все одинаково важно. У вас иерархии нет. Вы ничем пожертвовать для Высшего не хотите. Каждая ваша страсть или даже пристрастие вырастают до размеров Вселенной. Вот я что чувствую в вас.

— Иерархии? Это опять, что стержень важнее плоти, что ли? Я этого не понимаю. И не хочу понимать. Сердце, между прочим, тоже плоть. Да, я отказываюсь отдавать предпочтение одному перед другим. Если на то пошло, то все наши чувства божественны, как все краски, как все цветы. Все живое божественно. Все – Истина. А вы ее хотите обрезать, обузить. Свести к чему-то одному. Хотите втиснуть Истину в прокрустово ложе.

— Я не Истину хочу сузить, а путь в Истину. Если вы считаете, что уже нашли Истину и искать вам нечего, ну, тогда у вас границ нет. А если вы только еще идете, то дорога имеет направление. Чтобы держаться некоего направления, надо сузиться. «Широк,

слишком широк человек. Я бы сузил.» - Это Митя Карамазов сказал. И неплохо сказал. Надо бы, чтобы человек не только мог все, что захочет, надо бы, чтобы чего-то он не мог сделать.

Роман пристально поглядел на Ольгу и вдруг спросил:

— Ну, а вы нашли Истину? Она вам известна? Что же она такое, Ольга Алексеевна?

В Ольге росла боль и тяжесть на сердце. Но она сказала спокойно:

— На это я не буду вам отвечать, Роман Андреевич. Скажу только, что без духовной иерархии нет пути к Истине. Пока для вас Гималаи равны Воробьевым горам, вам в высоту не подняться.

— Иерархии... И кому в вашей иерархии принадлежит первое место? Разумеется, Богу, единственному Владыке?

Она тяжело вздохнула:

— Богу. Да, Богу. Но ведь вы рассуждаете о Боге, как о предмете, как о ком-то, имеющем границы. Вот почему у вас может быть рядом с Богом еще кто-то. Вы не о том говорите. Вот здесь-то как раз вы и сужаете. А именно здесь узкость невозможна, Роман Андреевич.

Кому в духовной иерархии принадлежит первое место?

— Никому. Первое место всегда остается вакантным. Пустым. Как небо. И оно — внутри нас.

* * *

— Главное отличие нашей христианской культуры от Востока со всей его расплывчатостью и неопределенностью — это Лик и Слово. У нас все зиждется на форме, ограждающей Дух от хаоса. Лик, а не пустота. Слово, а не молчание.

Это говорил седой, красивый мужчина лет пятидесяти пяти или шестидесяти. ("Сколько же ему на самом деле?" — силилась вспомнить Ольга). Говорил тихо, но твердо и убежденно, с какой-то мягкой, благородной и в то же время не-пререкаемой интонацией.

Прошло несколько месяцев с того достопамятного вечера у Анки. Ольге кажется, что это было вчера, не далее. И вот снова она сидит за столом. И снова завязывается большой теоретический спор...

Голос Саши льется плавно, спокойно. Да, Саши... Александр Григорьевич Сокол, Катин отец, приехал из Ленинграда на крестины своей внучки. Это он говорил про Лик и Слово.

Хотя считалось, что приглашены были только самые близкие, гостей было не так уж мало. Тут, конечно, и Анка с Сергеем и Белка Вайс — крестная мать Олеси. Слева от Ольги сидит Алексей Николаевич Соболев, один из самых умных и интеллигентных московских священников. Он крестил девочку.

Справа – Саша. Он говорит не меньше, чем Роман. Нет, больше. Роман. Кажется, уже давно замолчал, а Сашин голос льется и льется, мягко и непререкаемо... Неужели ему никто не ответит?

— Нам необходимы берега, - продолжал между тем Александр Григорьевич. – Берега, русло, чувство иерархии – вот по чему мы истосковались!

— Наконец-то мои родители, кажется, совпали, - сказала Катя.

Ольга взрогнула, но смолчала. Говорить не хотелось. Очень не хотелось. Она как-то устала от всех слов. Откинулась на стуле. Кисти рук ее лежали на столе. И вдруг почувствовала, что кто-то дотронулся до ее руки. Бережно. Осторожно. Это был Саша.

— Боже мой, совершенно такие же руки, - сказал он.

— Как будто не прошло этих долгих лет... Волосы седые, очки, а руки все те же. Я очень любил твои руки, Оленька... Послушай этого Корша, конечно, сильно заносит. Но он все-таки мне нравится. Это у них с Катей совсем серьезно?

Ольга пожала плечами.

— А Антон по-прежнему пьет?

— Нет, совсем не пьет. Настолько, что уже не боится выпить за общим столом.

— Вот как... Ну, все-таки корш ей больше подходит.

— По мне нет человека лучше, чем Антон.

— Ах, оленька, Людмила андреевна считала, что нет человека лучшего, чем твой покорный слуга. Но дочери решают не так. Как их матери...

Саша улыбнулся всепонимающей улыбкой.

Лет тридцать тому назад, вскоре после смерти Сталина, Саша вернулся в Москву и худой, страшный появился у Оли. Да, страшный... Какой страшный! Как бесконечно, как пронзительно было его жалко! Познакомился с дочкой... Плакал скупыми и такими значительными мужскими слезами. Оля плакала вместе с ним, дольше него, - дала слезам волю. Кормила его, передела во все новое, загодя приготовленное. Слушала его долгие рассказы. Сама рассказывала. – Все рассказывала: как жила, как дочку родила, как мать хоронила.... Казалось, встретились две души. Но нет, не совсем. Рядом были, а соединиться не смогли. Оля ясно почувствовала, что та, появившаяся четыре года назад преграда не пошатнулась, не сдвинулась с места.

Саша недоумевал. Он был уверен, что едет к жене и дочке. И был миг, когда Ольга почти уступила — волна сочувствия, великой жалости захлестнула ее, но вдруг она окаменела под его рукой. И почувствовала, что все это не в ее власти, что не может она — и все.

— Сашенька, прости меня, Сашенька, — плакала она, — ничего у нас не выйдет.

— Но почему же, Господи, почему?! Может быть, у тебя кто-то есть? Ты другого любишь?

— Нет. Никого нет. И не будет, я думаю.

— Но что же тогда мешает нам?

Как ему было объяснить? Она и самой себе до конца объяснить не могла. Она только кусала губы и плакала.

— Я не понимаю, не понимаю... — говорил он. — Я тебе бесконечно благодарен. Я выжил в лагере только благодаря твоим посылкам и всей твоей поддержке. Я не забуду этого никогда. Но я не понимаю... не понимаю...

— Саша, я могу только, когда вся, вся душа до конца.

— Ну, разумеется. Разве я не всей душой?

Кажется, чем больше они говорили, тем меньше понимали друг друга. Как ей было рассказать ему, что душа ее так продрогла там, под дождем на Крымском мосту, что, мо-жет, чтобы ее отогреть, никакого человеческого тепла не хватит? Нет, нет, она его не винит. Она отогрелась и никого ни в чем не винит. Она узнала жар, который прокалил ее насквозь, переродил... Она уже не та девочка, которую он любил и не любил в одно и то же время. Она другой человек. А ему и той девочки было много. Ему бы частицы хватило. «Саша, или ты забыл? Ведь что-то во мне есть лишнее для

тебя. Ну, а куда же мне деть это? Вспомни, Сашенька, как тебе со мной было трудно. Ты мне столько дал тогда! Я все помню, все знаю, но...».

Да, он много дал ей. Они как будто вместе учились понимать, видеть и слышать. Вместе прочли, прожили Достоевского, и Евангелие (уже потом, после Достоевского) прочли вместе.

Нельзя сказать, что тогда она все понимала. Нет... Она только робко чувствовала, что любит этот неведомый еще мир и надеется, что когда-нибудь в нем освоится. Она не знала еще, каким чувством наполняются те или иные слова, не видела живых глаз, живую лика. Она только предчувствовала, предугадывала. И почему-то верила, что Саша знает гораздо больше, видит гораздо яснее.

Как она полагалась на него! Как доверялась! Абсолютно И вдруг оказалось, что на него нельзя положиться. Что же это происходило? Земля начала качаться под ногами у

Оли.

Но был ли Саша тут виноват? Кто сказал, что он должен был схватить и удержать сумасшедшую девчонку, которая от полноты доверия взлетает в воздух и шагает по воде?... Да... у нее было такое чувство, что она прыгнула из открытого окна навстречу ему, в его руки, а он - отпрянул, рук не раскрыл. Что ж делать? Он только и мог, что отпрянуть. Да ведь это инстинкт, - когда тебя сбивают с ног, отпрянуть. Она не хотела сбивать его с ног. Не хотела, а получалось так. Оля его не винила, но и сама не могла иначе. Она вся раскрылась и могла бы действительно погибнуть, если бы не чудо на Сариклене...

Но чудо случилось. И она не погибла. Удержалась в воздухе. Не утонула в воде. Не сгорела в огне. С душой произошло именно это. Душа ощутила свою вечность.

Ольга узнала, что мир создан Чудом и Чудом держится. И каждый миг происходит Чудо. И она знала это Чудо в лицо.

И теперь ей не нужно было думать и гадать, что означает то или иное слово Евангелия или другой священной книги. Она узнавала мгновенно всем сердцем — то!

Это была явность целого моря, обступившего тебя, явность Ветра, все опрокидывающего и несущего новую жизнь. — Вот оно! Пусть кто хочет спорит, но я-то знаю!

А Саша... Бедный, милый Саша, ничего он не знал, он только слышал, он только верил, и даже, может быть, только хотел верить. И чем больше было в нем неуверенности

внутренней, тем четче и определеннее становилась его внешняя вера, по сути — только желание веры, только тяготение к вере... И тяготению этому не хватало сил.

Если бы была та открытость сердца, та неутолимость жажды, если бы... Тогда, может быть, все по-другому сложилось бы. Но жажда его утолялась довольно скоро. Прекрасные книги, прекрасные, четкие, уже сложенные кем-то формулы - этого было вполне достаточно. Ничего другого было не нужно.

Он был убежден, что существует Бог. Но убеждение - это было одно, а Душа - другое. Душа... «Ну, конечно, конечно, я все знаю, все понимаю», — мягко говорил он И — ничего не понимал в этой огромной, хаотичной, неприкаянной Олиной душе, которая неизвестно, где начинается и неизвестно, где кончится, которая не влезает ни в какие рамки и дрожит от любви и боли и вдруг обдает таким светом и жаром, что вынести этого невозможно. Да, невозможно. Он боялся этого. Не нужно этого. Это - бездна. Ее обходить надо. Это был его инстинкт.

И вот он худой, серый, - лагерник, отсидевший почти четыре года, и все тот же... Ведь он не может, никак не может и не хочет взглянуть Оле в глаза. Да ведь ему по-прежнему слишком много того, что там, в тех глазах, есть. Частицы довольно, а остального - не надо. А куда же девать это остальное?

— Саша, Сашенька, ты мне брат. Я все тебе могу отдать. И если б можно было за тебя в лагерь пойти, пошла бы Это правда, Саша. Но так... совсем... нет, не могу. Я думаю, я даже уверена, что никогда замуж не выйду.

— Что, обет, что ли, дала?

— Зачем обет? Я вообще не признаю обетов. Что всему сердцу нужно, то и обет мой.

— Значит, я всему сердцу не нужен?

— Ты утешься, Саша. Прости меня, Саша. Ты будешь счастлив. А я... Я буду счастлива иначе... Надо же кому-нибудь быть счастливым иначе. Я не в замужестве буду счастлива.

— А почему надо быть счастливой иначе? Чем плохо в замужестве?

— Как тебе сказать... Мне кажется, и в замужестве понастоящему будет счастлива только та душа, которая прежде научилась быть счастливой иначе. Я не монахиня.. Но мне кажется, только в этом и есть смысл монашества.

Саша вскоре очень подружился с Катей. Поселился он у своего реабилитированного дяди. Часто приходил к дочке. На Олю сперва сильно обиделся, но потом отошел, стал мягок, по своему нежен. Впрочем, все это длилось недолго. Он жинился на

ленинградке и переехал в Ленинград. Стал там читать лекции, издал книгу, еще книгу, стал очень знаменит. И стал счастлив. А Катя продолжала дружить с отцом, переписываться, часто ездила в Ленинград. И однажды, уже взрослой студенткой, как-то, поссорившись с матерью, сказала: «По-моему, отцу в лагере было легче, чем с тобой». Как будто хлеснула мать наотмашь изо всей силы. Оле захотелось тогда закричать, но она смолчала.

Вот и теперь она молчит и молчит.

Уже пили за олесину крестную мать. И опять что-то говорил Роман, а Саша как-то отечески спорил с ним, в то же время исподволь им любясь. Суть спора все более ускользала от Ольги, все меньше ее интересовала. Она ответила невпопад, когда к ней обратились, а потом, взглянув на явно усталую виновницу торжества, извинилась и сказала, что пойдет укладывать Олесю.

Олеся долго не могла заснуть, держалась за бабушкину руку, просила сказку...

— Есть такая страна Небывалия, - начала Ольга и вдруг замолчала.

— А какая это страна, бабушка?

— Это такая страна, где исполняется все, что нам нужно.

— Все, все, что хочется?

— Нет, доченька. Не что хочется, а что нужно. Это большая разница.

— Это лучше, да?

— Да, моя радость... Это гораздо лучше.

— А что мне нужно, бабушка? Что мне хочется – я знаю. А что нужно? Это я не понимаю.

— Многие люди этого не понимают. Когда начнут понимать, тогда и будут искать страну Небывалию.

— А где она, эта страна?

— Там где нас нет.

— Значит, я никогда не смогу туда попасть?

— Нет, сможешь. Вот когда ты станешь незаметна сама себе, вот тогда ты и попадешь в страну Небывалию.

— Незаметна сама себе?

Как расширились ее глазки! «Радость ты моя...». И вдруг она явно что-то вспомнила или что-то поняла и сказала:

— Это так бывает.

— Ну вот, видишь. И у меня бывает. Значит, мы с тобой сможем попасть в страну Небывалию.

— А ты расскажи про нее, бабушка.

— В этой стране человек как взглянет на другого человека, так сразу все, все поймет. И никаких слов не надо. Одна радость.

И никто никого никогда не обидит. Потому что все, что чувствует другой, ты сам чувствуешь. Если случайно ударишь другого, то больно-то тебе самому. Как будто у всех одно тело. На всех — одно, как небо у нас. И люди там не отнимают место друг у друга. Там не бывает, как у нас — если много людей, так тесно. Ничего подобного. Там — чем больше людей, тем больше простора. Каждый человек вносит с собой простор. Войдет человек в дом, и дом раздвинется. Еще человек войдет — дом еще больше. А если совсем много народу соберется, то это уже целый дворец или целый Храм.

— Храм — это церковь?

— Ну да, церковь.

— Церковь — большая. Только ведь там бывает тесно...

— Это у нас так. А в Небывалии не так. Там не бывает тесноты и всем-всем хватает места.

— Бабушка...

— Подожди, ласточка, одну минуту, я дослушаю песню... — Из другой комнаты доносился в детскую голос Галича:

А ей мама во всем потакала,

Красной Шапочкой звала, пташкой вольной...

Песня отзвучала и стал слышен громкий голос Романа: «Эту песню покойный Арский считал самой страшной изо всего, что знал».

Что-то в ответ говорила Белка. Но ее тихий тонкий голос не пробивался через стену. И вот опять — Роман:

— Да, да, Белла Наумовна, такой лаконизм, вмещающий всю жизнь. Сначала судьба, как судьба. Страшно, но как у всех. Как у очень многих. Смерть матери, смерть любимого. Потом – предательство. Сперва предательство чужого, а потом своего родного ребенка. Это уже не как у всех...

— Ты что плачешь, бабушка?

— Ничего, моя радость, это я так. От старой песни...

А в соседней комнате уже опять крутилась магнитофонная пленка. И тот же Галич своим хриплым будничным голосом говорил : «Здравствуй, Бог», а Бог так же просто отвечал: «Здравствуй, Бах».

Ольга не утирала слез, в темноте они текли и текли. А эта глазастенькая разглядела или так почувствовала...

— Бабушка, а правда это, в Небывалии так говорят: «Здравствуй, Бог», и Бог отвечает: «Здравствуй, кто-нибудь». Да?

— Да, моя крошка. Это именно так и есть.

— Бабушка, а расскажи мне про Бога.

— Про Бога трудно трудно рассказать...

— Мама говорит, что он очень справедливый, но строгий. И что он за все нехорошее наказывает, а за хорошее награждает.

— Так прямо наказывает и награждает?.. По-моему, Бог прежде всего дает всем, всем, - и хорошим и плохим, - весь простор. Вот ты думала когда-нибудь, откуда это появилась целая земля и целое небо? Ты только родилась, ты еще ни хорошего, ни плохого ничего не сделала, а тебе уже вся земля и все небо приготовлены. И все деревья, и цветы. И яблони и груши. И все, все, все. А от тебя ждут только одного: чтобы ты простора ни у кого не отняла, а наоборот, - прибавила бы простору.

— А... как это?

— О, моя ласточка, этому надо всю жизнь учиться... Для этого и надо попасть в Небывалию. И мы с тобой попадем туда, попадем. А сейчас, спи, моя крошка, спи. И пусть тебе приснится страна Небывалия, где все всех любят, как я тебя.

— И как я тебя, - сказала Олеся уже засыпая и все еще не выпуская бабушкину руку.

Кажется, Ольга сама задремала с Олесей. Не то что задремала, а просто была в каком-то забытии. Ее вывел из него шепот Анки: «Ольга Алексеевна, ну что ж вы не идете? Ведь без вас все не так».

— Иду, иду, — зашептала в ответ Ольга. — Только что не так? Я ведь сидела и молчала.

— Все равно без вас все не так. А сейчас стихи читают. Я не могу, чтобы без вас читали стихи. Я им так и сказала, что без вас читать нельзя, потому что никто не читает так, как вы.

Она, действительно, так и сказала, перебив на полуфразе Александра Григорьевича. Он не привык, чтобы его перебивали. Сначала осекся, не мог скрыть недовольства, но быстро взял себя в руки, улыбнулся и сказал вслед выходявшей из комнаты Анке:

— Иметь таких поклонниц — это, конечно, счастье, но...

— Но, конечно, вкусы у всех могут быть разные. И отец имеет право не разделять вкусов Анки, да и вообще перебивать не обязательно, — сказала Катя. — Но Анка есть Анка. Ей здесь все прощают. И ты прости, папа.

— Ну что за вопрос. Она такая милая и непосредственная...

Перебитый разговор как-то не налаживался. Наконец, в комнату вернулась Анка с Ольгой. Саша очень обрадовался:

— Оленька, у тебя такие горячие поклонницы! А я, правда, давно не слышал, как ты читаешь стихи. Почитай нам.

— Я не могу так сразу, — улыбнулась Ольга, усаживаясь на диване. — Почитайте вы, я послушаю, а потом, может, и включусь.

Наступило молчание. Его прервал Роман. Густой, затаенный голос его набирал глубину и силу. Он читал Цветаеву. Кусок из «Крысолова». Увод детей. Прекрасно читал. С таким огромным напряжением, что оно повисло в воздухе. Нужна была разрядка. И вот полился мягкий голос Саши:

Сестры — тяжесть с нежностью, одинаковы ваши приметы.

Медуницы и осы тяжелую розу сосут сосут.

Человек умирает. Песок остывает согретый,;

И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети!

Ольга очень любила эти стихи. Боже, как давно ей читал их Саша! Тогда этих стихов еще никто-никто не знал. Это было в другом мире – в юности. Горло сдавило...

Но вот читает Анка. Опять Цветаева. Ах, ты моя умница, как читает!

И вдруг – почти детский, тоненький Белкин голос. Она - своего любимого позднего Пастернака.

Лист смородины груб и матерчат...

Ей нужна эта удивительная простота. Совсем безо всякого пафоса; то, в чем чувствуешь себя совершенно естественным, как чай пьешь или купаешь ребенка. И вдруг – что-то сверкнет, что-то такое проглянет, что осветит и освятит все. Вот это и есть Белочкина стихия. Она прочла одно,начала другое:

Я знаю, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой...

Стало вдруг удивительно хорошо. И тихо, точно вправду они собрались на проводы кого-то дорогого до боли. И показалось, что вот сейчас все всем откроется и все, все услышится.

И тогда Ольга стала читать:

Все нежней, розовой, голубей,

Все прозрачней заречные дали...

Утешение наших скорбей,
Красота неизбывной печали.

Загораются капельки звезд,
Ледяная кайма заблестела...
Умирание - медленный рост,
Вырастанье души из предела.

И ты смотришь на берег другой.
Бесконечной тоскою объятый,
Точно кто-то, как жизнь дорогой,
От тебя уплывает куда-то.

Удержать бы... Склониться в мольбе.
Но... лишь отблески ветка качает..
Он уже не ответит тебе
Он себе самому отвечает.

В нем уже не найдешь ничего
От метаний и мук человека —
Тихо смотрит в себя самого.
Как вечернее зарево в реку.

Чей-то дух превратился в простор.
Перешел через нашу границу.
С ним уже не вступить в разговор —

Можно только ему причаститься...

— Что это за стихи? Чьи? — спросил Саша.

У него были удивленные, слегка растерянные глаза и складка на лбу, похожая на Катину, только помягче. Непонятно было — то ли он что-то отталкивает от себя, то ли это что-то отталкивает его и он как бы хочет удержаться на месте.

— Это Ефрем Аданов... Он никогда не печатался. Но в Москве его многие знают.

— Это что, твой любимый поэт?

— Да, мой любимый.

Саша пожал плечами: — Не знаю... не знаю... Впрочем, по одному стихотворению трудно судить.

— И не надо судить, — почти про себя сказала Ольга.

— Так накоротке со смертью, — продолжал Саша. — Это что-то неестественное и по моему здесь что-то не то. Не хватает страха и трепета.

— Вот как. Не хватает? — Ольга вдруг быстро взглянула на него с внезапно нахлынувшей болью и опустила голову.

— В этом стихотворении совсем нет дистанции между нами и запредельностью.

— Дистанции?..

У Ольги в лице появилась какая-то беспомощность, беззащитность. Она стала переводить взгляд с Саши на Катю, потом вдруг остановилась на Романе. Он был бледен и как-то удивительно тих.

В глазах у него стояли слезы.

— Прочитайте еще, Ольга алексеевна, - вдруг попросил он. — Ведь это прекрасные, прекрасные стихи!

— Вот как, оказывается... — Ольга грустно улыбнулась. Помолчала, потом стала читать:

Нарастанье, обступанье тиши.

Нас с тобою только сосны слышат.

Прямо в небо, прямо в сердце вниди,
Нас с тобою только звезды видят,
Наклонившиеся к изголовью...
И остались мы втроем с Любовью.

Для того лишь и умолкли звуки,
Чтоб Она могла раскинуть руки.
Для того лишь мир и стал всецелым,
Чтоб она могла расправить тело,
Каждый миг ушедший воскрешая...

Боже правый, до чего - большая!
Боже святой, до чего огромна.
Кто сказал, что Ей довольно комнат?
Кто задумал поместить под крышу
Ту которая созвездий выше?
Кто осмелился назвать мгновенной
Ту, которая подстать Вселенной?..

Все молчали. Александр Григорьевич сидел с опущенной головой и вдруг быстро, точно исподлобья, взглянул на Олю и снова опустил голову.

— Это тот же Аданов? – спросил он.

— Да. Тот же, - как-то отрешенно ответила она. – Тот же самый.

Александр Григорьевич встал и начал ходить по комнате.

— Да, да... Все это, конечно, очень красиво, необычайно романтично. Но я уже говорил: я за пределы и берега. И за крышу... Ах, мы уже видели эти ветры, срывающие крышу. Да, поместить под крышу! Вот именно – под крышу. Крыша и

стены. Это нужно. Вовсе не надо сносить крышу и стены. Добро должно расти под старой крышей и в старых стенах.

И, кажется, Оля, еще вчера ты мне именно это и говорила.... по одному поводу.

Ольга действительно говорила почти дословно эту последнюю фразу, но, Господи, до чего же у слов разное значение! И вот сейчас Роман в восторге от ее любимого поэта, а Саша отталкивает его, отталкивается от него, но... не все ли равно?.. Оба они от него равно далеки. И зачем, зачем только она читала? А по сути, может быть, сейчас облекалось в слова то самое, что произошло тридцать пять лет назад?.. Ольга вздрогнула, сжалась и на мгновение почувствовала себя той девочкой, для которой все крыши и стены, оказывается, были малы. Вот и дрогла и мокла на всех ветрах и под всеми дождями. И что было Саше с ней делать? «И остались мы втроем... с Любовью». Нет, мы не втроем, мы вдвоем оставались.. А Третьего... того великого третьего... как он Его пугался!.. Ах, Сашенька...

— Как твоя книга, Саша? — спросила она вслух. Саша отвечал сперва нехотя, все еще думая про стихи, но потом оживился, стал рассказывать, входить в детали. Он написал книгу об Андрее Белом. Она должна была выйти вот-вот. Но Саше столько пришлось претерпеть! Все эти споры с редакторами, вся издательская волокита. А Ольга представила себе вдруг самого Андрея Белого. Будто увидела вот такого, какой он у Цветаевой в «Пленном духе»; представила, что он вошел и сел здесь напротив Саши.

«Сашенька, что бы ты с ним делал?» — подумала она; и сразу же ей стало как-то не по себе и жалко Сашу. Может, она к нему несправедлива? Ведь она не читала еще книги. Он же талантлив...

А Саша между тем уже говорил о Белке. Жалел ее. «Во что она превратилась, Оленька!»

— А во что она превратилась? Постарела? Не больше, чем мы все.

— Не знаю, не знаю. Я преклоняюсь перед ее христианским подвигом, но...

— Ах, никакого подвига нет, — вдруг оборвала его Оля. — При чем тут подвиг, когда любовь? Тут просто — «не могу иначе». И все.

Она не могла вынести, когда к Белке снисходили, жалели свысока, со стороны.

— Никакого, никакого подвига, но все наши подвиги перед ней — ничто, нуль! И она здесь самая молодая, а не старая. И лицо такое же прекрасное, как было.

— Откуда такая горячность? Что ты, Оля? Разве я ее обидел?

Ольга ничего не ответила. Она видела перед собой одну картину, которая порой становилась неотвязной, и с которой она не знала, что делать. Это было в теплый осенний день. Она приехала к Белле в середине дня, не выходного, будничного. Никого вокруг не было. Не было видно Маши, не лаяли собаки. Дружок молча подошел к ней, положил голову на руку и также молча проводил в дом. Открытый. Она вошла и стала звать Беллу. Никакого ответа.

Прошла из сеней в кухню, из кухни в коридор, из коридора в комнату, через нее — в другую. Шла и громко звала: «Беллочка! Беллочка!» — Так и подошла к самой последней комнате и увидела Белку. Она сидела и смотрела в окно, ничего не слыша, в таком глубоком оцепенении, что Оле стало страшно. Она сама застыла на пороге. Оказалось потом, что приехал Митя, взял Машу и повел гулять. Перед этим не приезжал месяц, а сейчас приехал на целый день, и Белла осталась одна среди всех своей горы не сделанных, не начатых дел, вообще среди всех своих гор — одна. И этого ее ничего не видящего лица Ольга уже никогда не забудет. Белка действительно была наедине с горой... Горой своей усталости. И как сдвинуть эту гору? Боже мой...

А сейчас Белка сидела на другом конце стола. Но вот уже встала, кивнула Оле. Та тоже встала.

— Мне пора, Оленька... Уже давно пора. Но сейчас я пойду.

Саша вызвался проводить ее до автобуса, но Оля не дала.

— Я сама провожу. Мы с Белкой двух слов сказать не успели. Так что извините меня, — обратилась она ко всем, — я очень скоро вернусь.

И вот, наконец, они вдвоем с Белкой. Легкий морозец. Тихо. Споры, слова, духота — все позади.

— Белочка... — Ольга с нежностью поправляет ее вы-бившиеся из-под платка волосы и притягивает подругу к себе. — Я очень соскучилась. В воскресенье собралась, но вот

вся эта затея с крестинами и Сашин приезд... А соскучилась очень.

— Я тоже. Еще больше.

— Кто тебя сегодня отпустил?

— Лучше не спрашивай: Митя. А когда он остается с Машей, я так беспокоюсь. Да еще мой новый жилец. Митя его не переносит, говорит, что его надо гнать вон. Больного человека... Если тот опять пришел пьяный. То я уж и не знаю, что там происходит сейчас. — Белка замолкла. Потом улыбнулась своей детской улыбкой. —

Оленька, а хороший вечер сегодня был, очень хороший. И вот я слушала твоего аданова и думала: какой он счастливый человек. Счастливый и гармоничный, но... но для меня, наверное, немножко слишком.

— Что «слишком?»

— Слишком счастливый. Мне в нем страдания не хватает.

— В нем страдания не хватает?!

— Да, Оленька. В нем. Тут и гармония, и высота, но уж слишком высоко отлетел он от этого нашего дольного. Одно горнее...

— Вот от тебя мне не хотелось бы это слышать... Вот уж от тебя бы не надо.

— Оленька. Я сделала тебе больно? Понимаешь, тут надо больше поговорить. Ты ведь приедешь скоро?

Уже подошел автобус. Они обнялись. Вот уже в окне Белкина голова в лиловом платке, милые Белкины глаза.

Бога ударили по тонкой жиле,

По руке или даже по глазу – по мне...

Эти строчки звучали в ольге, когда она возвращалась домой: «По мне...». Постояла у двери, позвонила...

Со стола уже убрали посуду. Анка с Катей мыли ее на кухне. Сергей с Романом разговаривали... Саша как-то неловко топтался в коридоре. Он на этот раз остановился в гостинице и собирался уходить. Наконец, и Анка с Сергеем ушли, а Ольга осталась ночевать в Олесиной комнате; и приснился ей удивительный сон:

Приснилось ей, будто этот вечер продолжается – никак не могут разойтись гости, все спорят и спорят, говорят и говорят. И уже рассвет... И наконец-то они вышли. Все вышли, кроме Кати и Романа... И она сама вышла, только с ней еще кто-то. Вот кто же? — Она не знает. А снится ей, что знает, что это кто-то самый родной, самый близкий. Ближе даже Антона и Белки; ближе и чуть ли не роднее Олеси... А кто — не знает.

И все еще на улице шумят, — но вот, наконец, расходятся, и выступает предрассветная тишина. Белый, нет, не белый, голубоватый, голубеющий предрассветный снег и

тишина. И они с тем самым человеком идут по этой голубеющей тишине. Куда — они не знают. И все-таки знают. Да, знают, не зная. Но как объяснить это той бедной женщине, которая отстала от всех других и почему-то привязалась к ним, и идет с ними и все спрашивает, куда же ей идти? А они никак, никак, никак не могут объяснить. Наконец, Олин спутник тихо говорит: «Нам обязательно надо свернуть в этот переулочек». И они сворачивают. И остаются одни, без той женщины. А в переулочке — высокая белая церковь. Церковь закрыта, но они заходят в церковный двор и садятся на заснеженную ступеньку. И поднимают головы. Прямо над куполом, над тонким крестом, висит огромной хрустальной каплей — звезда. И тут Ольга осознает, что она ведь спит, спит у Кати, рядом с Олесей, что идти никуда не надо. Надо только проснуться. И надо уметь ждать пробуждения в этой полной тишине и белизне, под этой висящей на небе хрустальной звездой. И как объяснить это той бедной женщине? — думает Ольга и просыпается.

* * *

— Ну пожалуйста, расскажи мне еще про страну Небывалию, — просила Рута Олеся.

И девочка охотно рассказывала:

— Это такая страна, хоть и Небывалия, но там как раз все сбывается. Только не то, что хочется, а то, что ну-у-уж- но, — протягивала она букву «у».

Олеся ей про Небывалию, а она Олеся — про страну снов: «Ты что, не знала, что есть такая страна? А откуда же к нам сны прилетают? Вот перелетные птицы прилетают весной с юга. Если бы не было юга, откуда бы взялись перелетные птицы? А если бы не было страны снов, откуда бы появлялись сны? Тогда ляжешь спать, и темно, ничего нет. Ведь глаза закрыты. А тут — глаза закрыты, а сколько видишь!»

Олеся широко открывала свои серые глаза в черных ресницах (точь-в-точь Антон) и хлопала ими, а Рута замирала от любви, от желания прижать и зацеловать эту девочку. Желания, которое она, впрочем, всегда сдерживала...

Страна снов... Была такая страна. В самом деле была. Рута это знала давно. Она из нее родом. Но из нее пришлось выйти в этот обычный мир, как из таинственно подсвеченного сумрака на дневной свет. И дневной свет ударил в глаза...

Сначала ей показалось, что она в этом обычном мире задохнется – не сможет жить. Но нет, она научилась там жить. Научилась. Жила, как все, и украдкой, когда никто не видит, возвращалась в страну снов. По ночам или в своих одиноких прогулках по лесу, а иногда под настольной лампой за книгой или над рисунком.

Может быть, единственное, что она выносила из этой тихой страны в шумный мир, это свои причудливые рисунки, где душа не была связана никакой формой и парила, летала, плыла совершенно свободная, оставляя свой удивительный дрожащий след на бумаге.

С людьми она была дневная, вполне дневная. Ясная, веселая, умелая. Но там, в той стране, она одинока. Вполне одинока. Так только и может быть, – знала она. Иначе не бывает. Ну, мелькнет на минутку мечта, почудится жизнь вдвоем в той стране... Но это пройдет, обязательно пройдет... Миг и все.

Когда-то девчонкой она думала, что все должно быть иначе, что в дневном мире те же законы, что и в стране души. И когда увидела, что это не так, то чуть не умерла.

Да, это было, когда она полюбила в первый раз. Ей тогда казалось, что одного его прикосновения довольно, чтобы умерен от счастья. А если так прикоснется кто-то чужой, то можно умереть от ужаса и боли.

Но она не умерла ни от счастья, ни от боли. Счастье как-то мгновенно и незаметно перешло в боль. Осталась одна боль, которую надо было во что бы то ни стало выдержать. И она выдержала.

Да, почти тот час же, как только он прикоснулся, прикоснулся и чужой. Оказалось, что он сам и есть чужой. Чужой, который никогда не заходил в страну души. Вот что оказалось. И все-таки она не умерла. Она выжила и научилась жить. Поставила себе задачу — и выполнила ее.

Она уже не путала ту страну с этим обычным миром и, казалось, достигла полной ясности и равновесия. И это длилось не день, а годы... И вдруг... Да, вдруг, в миг какой-то, от ее устойчивого равновесия между двумя мирами не осталось ни-че-го. Как огромный ветер с моря, пришло Настоящее Дыхание. И все ее постройки опрокинулись как карточные домики. Все стало таким ненужным. И таким невозможным! Их брак слевой, такой рациональной... Они были настоящими товарищами, даже друзьями. Люди одних убеждений, одних устремлений. Но не может же у двух людей быть все общим! Это знала она, знали они оба. Каждый имеет права на некую суверенность. Достаточно широкую суверенность... У каждого из них бывали свои отклонения. Мало ли что... Лева, например, не очень-то любил поэзию. И поэтому, когда у Руты собирались и читали стихи, она старалась поплотнее закрывать дверь левиного ученого кабинета... Да, каждый имел право на свою суверенность. Суверенность чего? Души?..

Вопрос пришел внезапно и вырос, как стена.

И тогда она сказала: «Прости меня, я очень не хотела сделать тебе больно, но нам надо расстаться. Я люблю другого».

Бедный Лева! Он никак не мог понять. Он говорил: «Ну и что? Это все проходит. То, что нас связывает, важнее».

— Нет, Лева, это не проходит.

— К кому же ты уходишь?

— Ни к кому... Он женат и с женой не расстанется.

— Ну так в чем же дело?

— В том, Левушка, что я люблю его, а не тебя, и не могу жить с тобой, любя его. Левушка, ведь и ты меня вовсе не любишь, я же знаю. Нет, нет, ты ко мне прекрасно относишься, но это не любовь. Мы с тобой просто считали, что другого ничего и не бывает. Но, оказывается, это не так. Бывает. И тут уж ничего не поделаешь.

Раздвоение стало вдруг невозможным. Совсем невозможным. И душа собралась воедино. И расправилась. В несчастье или в счастье, но с ней была теперь вся душа.

Глаза ее глубоко запали. Ей говорили, что она побледнела, подурнела. Рута только пожимала плечами: не все ли равно?

И осенний лес бледнел, оголялся и опрозрачивался, и сквозь него светилось уже что-то другое... и она глядела в это другое и порой, опуская голову, разгребала мыском сапожка осенние листья. И думала, что «это другое», может, и есть сама душа? И вдруг... услышала свое имя, произнесенное его голосом.

Еще так недавно она принимала правила игры этого временного мира, в котором все всегда проходит. И вот – стоп! – оказалось, что есть что-то, что пройти не может. Это недоказуемо. И непроверяемо. Это просто сеть.

Оказывается, то, что предчувствовала она девочкой, - правда. Те прикосновения, от которых сердце разрывается, - не мечта, не сон, а правда.

Иногда на улице, на людях они едва касаются друг друга, переплетенными мизинцами. И вот однажды она сказала ему: « В одном твоём мизинце больше чуда, чем во всей моей прошлой жизни...»

Раньше чудо было только залетной птицей, которую надо не запирасть в клетку, уметь впустить, уметь выпустить, ибо оно обязательно улетит. Но чудо ли это было – то залетное, мимолетное? Нет, отголосок, намек...

Семь часов вечера. Сейчас он придет с работы. Сейчас они обнимутся. И сердце падает при мысли об этом, как у девочки при мысли о еще не бывшем поцелуе. Да, не бывшем. Ничего еще не было... Все каждый раз начинается с начала и – никогда не кончается.

Рута налила две тарелки супа, но сама есть не могла.

— Меня сегодня водили в мастерскую к одному художнику... И я не успокоюсь, пока мы туда не сходим вместе с тобой. Я уже договорилась, что завтра приведу тебя.

Понимаешь, такое впечатление будто он подсмотрел, как Бог творит мир, что-то нам оттуда доносит. Кажется, так кладутся самые первые штрихи. И цвет вот так рождается. Точно я присутствую при собственном рождении. Или за грань жизни заглянула. Если сказать честно, мне даже страшно. Но...как-то удивительно нужно. И знаешь, я вдруг поняла, как мало я видела и какие мы маленькие.

— Какой он сам? Как тебе сказать... Не знаю. У меня с ним не вышло контакта. Это очень молчаливый человек. Говорят, очень больной. У него какая-то необъясненная и очень тяжелая болезнь. Я как-то робела перед ним. Да, при всей своей неробкости. Как зовут? Ефрем Аданов.

— Аданов! — Антон отложил ложку. — Аданов... Рута, да ведь это же любимый поэт Ольги Алексеевны. Она говорила, что он еще и художник. Только картин его никто из нас не видел. Как все сходится!

— Ну вот, завтра увидим. Говорят, он уезжает внезапно, заболевает, исчезает. Я уж дрожу, чтобы до завтра ничего не изменилось...

* * *

— Куда сегодня, папа?

Какими глазами Темка смотрел на отца! Да, от одних этих глаз, кажется, можно обрести магическую силу. Такая вера! Такое ожидание! Впрочем, может быть, сама эта вера рождалась от магической силы отца. Здесь разобраться было трудно, что от чего начиналось, но два человека стояли рядом в темной комнате и почти сливались в одно существо. Весь окружающий мир с его вялыми часами и не сосредоточенным ни на чем рассеянным светом, отступал, уходил, оказывался совершенно ненужным. Одному человеку было сорок два года, другому двенадцать.

— Ну, папа, куда же?

— Заведи машину.

В углу комнаты, в которой были спущены шторы и горел только красноватый ночник, стояло то, что они называли машиной. Это было нечто вроде проекционного фонаря, но тут же рядом демонстрационный узкоплечный аппарат. Все это было как-то хитро смонтировано вместе с телевизором и со стереопроектором. Обычно все начиналось с музыки, настраивавшей на то, что отцу было нужно. Потом на стене высвечивались картины, а потом — потом уж и люди сами вступали в действие.

— Папа, машина не заводится!

— Вот как... Попробуй еще.

— Она не заводится, папа!

Мальчик огорчен. Он даже встревожен.

— Ах, вот оно что, — многозначительно говорит отец и медленно подходит к машине. Ночник гаснет. И вдруг на стене появляется бесшумное изображение. Это голова с совершенно черным лицом. Один глаз на этом лице вспыхивает зеленым светом, а другой, непропорционально большой, оказывается совершенно пустым. Провал. И только там, далеко-далеко, сквозь него что-то светится.

— Вот туда-то мы и отправимся, — говорит отец. — Он, вот тот, кого ты видишь сейчас, сломал машину времени. Она ему не нужна. Он раздвигает щель времени. Он пришел из другого измерения. Он во всех веках присутствует одновременно. Он видит все времена. То, что мы видим последовательно, для него открывается в один миг...

Так начиналась игра с Темкой. Но почти так же Роман Андреевич Корш начал свою лекцию в клубе МГУ.

Афиши были давно расклеены. Билеты распроданы. Лекция под названием «Щели времени». Зал переполнен. Стоят в дверях, толпятся в фойе.

«Аннушка пролила масло», — говорит Роман Андреевич и замолкает. Тишина в зале растет, густеет. Это уже туча, из которой вот-вот сверкнет молния. И тогда раздается голос: «Всего-навсего! Пролила масло. Но кто из нас понимает, как значителен каждый миг жизни. Каждый пустяк. Пустяк... Звено великой мировой цепи, которой мы не видим. Существова двух измерений, существа, живущие на плоскости, не подозревают, что есть такое понятие, как объем. Не подозревают, что из третьего измерения — с высоты — можно охватить одним взглядом то, на постижение чего им понадобилась бы целая жизнь, если продвигаться шаг за шагом, пядь за пядью по

плоскости. Разве мы можем судить о мировом замысле? Мы, которые видим только несколько мелькающих кадров из великой киноленты?!

Есть такая суфийская притча о бедном мудреце, у которого было одно богатство — белый конь неслыханной красоты. Цены ему не было. Односельчане говорили бедняку: дурак, продай коня и ты избавишься от бедности, тебе будет чем кормить жену и детей. Но бедняк голодал и не продавал коня. И вот конь его убежал. И люди стали пенять ему: и без коня, и без денег. "Подождите судить, — говорил бедный мудрец, — вы еще ничего не знаете." И действительно, конь вернулся, приведя с собой целый табун таких же коней. «Вот он какой мудрый!» — сказали люди. А он опять ответил: «Подождите судить. Что вы спешите судить по обрывкам?» Случилось так, что на одном из коней поскакал его сын и упал, и сломал себе ногу. — «Ай, яй, яй, — говорили люди, — он и это предвидел. Но почему же тогда ты не избавился от коней?» — «И опять вы спешите,» — сказал мудрец. Пришла война. Всех молодых парней забрали на войну. А сына мудреца не забрали, потому что тот охромел, когда падал с лошади. На войне все погибли, один только и остался жить сын мудреца, говорившего: «Подождите судить...»

Да, все мы видим только обрывки и спешим называть их злом или добром. Но мы не знаем, что они значат на самом деле. И вот приходит существо из другого измерения, которое знает. Все наши века для него — мгновения. Он обозревает их одним взглядом. Он присутствует в них всех сразу. Чудеса, которые он способен творить, для него так же просты, как для нас — поднести котенку зеркало. Котенок поражен, а для нас это так просто!

Аннушка уже пролила масло. Воланд это видит вместе со всем, что за этим последует. А Берлиоз с Бездомным, разумеется, не видят дальше своего носа. И вот Москва потрясена чудесами приезжего мага. Но эта слепая Москва просто не имеет никакого представления о том, что в здании Времени, в которое мы заключены, имеются щели — выходы в другие измерения. Человек, который это знает, называется Дьяволом. Но кто он такой? Хорош или плох? Отважьтесь сказать, что мы этого не знаем. Зол он или добр? Мы не знаем. Нет, не знаем. Воланда не назовешь злым. Он — справедливый. Но если мы увидели бы чудовищные несправедливости, даже и тогда надо было бы остеречься судить. Есть действия, которые на наш взгляд кажутся несправедливыми, но они одаривают нас жизнью и красотой. Они завораживают нас. И борьба с ними подобна проповеди повара из крылов-ской басни, убеждающего своего кота Васюку. Мы слишком часто судим о вещах, о которых не имеем представления.

Действительного представления. Ибо мы видим лишь видимое и не заглядываем глубже. Какой-нибудь грандиозный водопад одновременно и прекрасен, и страшен. Он — непонятен нам. Люди поклоняются Богу, которого они понимают (пусть

сердцем): он добр и благ. Но он почему-то терпит соседство другого, непонятого начала. Мы называем его Дьяволом, потому что он темен, то есть непонятен нам. Темная глубина, которая глубже нашего понимания. Но темнота эта неоднозначна. Это провал, который открывается в щелях сознания. Он бездонен. Бездна. Что же является ориентиром в Бездне? Красота. Красота, которая завораживает нашу душу. Страшит только безобразие. Недаром в языке страшное и безобразное – синонимы. Красота не страшит, а притягивает. И она не обманывает, что бы ни говорили моралисты. В красоте всегда есть жизнетворное начало. И то, что нам кажется злом, тоже завораживается красотой. В щелях времени, в щелях сознания живет великая манящая красота. Но там же есть и то, что нас пугает. Страшное. Да, оно есть. Оно так же вечно, как и прекрасное. Отважное сердце может за-во-ро-жить это страшное и сделать не страшным. Цветаевский Крысолов заморозил страшных крыс, он же заморозил и беззащитных детей. Да. Он выше наших суждений о добре и зле. Это единственная сила, которая может справиться со страшным, с безобразным. Уметь проникать в щели времени и сознания и, вооружась дудочкой Крысолова, замораживать безобразное – вот истинные уроки искусства.

Аннушка пролила масло. Хорошо или плохо она сделала? Мы, конечно, скажем, что ничего хорошего в этом нет, но и провинность ее пустяковая. Разве она ведала, что творила? Не ведала. Но Некто ведал за нее. Аннушка была звеном в великой цепи. Аннушка исполнила великое предназначение. А могла ли Аннушка не пролить масло? Вот что я вас спрашиваю. Могла ли она не сделать того, что было написано в некоем сценарии, хранящемся в щелях Времени? Могла ли?!

И снова зал застыл. И снова ожидание дошло до последней точки, когда раздался голос, тихий и многозначительный:

- Нет, не могла. Есть поступки, в которых мы не вольны, которые выше нас и глубже нас, даже если они на первый взгляд так же незначительны, как пролитое Аннушкой масло.

Он говорил еще. Говорил о свите Воланда. Говорил об Абадонне, о его взгяде, которого не может вынести ни один смертный. И, конечно, о бесстрашной Маргарите, которая

взглянула в самый пустой глаз Воланда ради любви, не спрашивая, хорошо или плохо то, что она делает.

Когда он кончил, зал неистовствовал. Его засыпали записками — и градом цветов. С блестящими глазами, возбужденный, весь наэлектризованный, Роман Андреевич

улыбался, отвечал на вопросы, делался напряженно внимательным, снова улыбался, пожимал руки, принимал цветы.

Катя сидела в зале. Странное дело: первый раз в жизни она не разделяла всех восторгов, и даже чуть отстранялась ото всего, что происходило. Роман был великолепен, но... она видела это со стороны. Она не была поглощена им. Она была как-то сама по себе. И дело не в том, что она знала его мысли, много раз обсуждавшиеся вместе. Эти мысли каждый раз рождались заново, этим-то они и завораживали... А вот сейчас — не завораживали. «Устала я, что ли?» — подумала она. И ощутила в груди не то боль, не то тоску.

Оглянулась вокруг. И вдруг увидела свою студентку Тосю Аникееву. Тоненькая волоокая девочка, она сейчас, кажется, действительно ушла из пространства и времени в некую щель, которая затягивала ее в себя. А, вернее, выманивала и вынимала из себя. Она действительно была вне себя. Или вне видимой себя, вне этой оболочки. По-настоящему ею, ее глубинной сутью, был сейчас тот, кто сидел за столиком на сцене, тот, кто в этот самый миг одним мимолетным взглядом пронзил зал и соединился с ее взглядом. О, на миг, всего на миг, вряд ли заметный другим, но для нее этот миг открывал такое пространство!..

— Тося!..

Тося вздрогнула, как от удара, и оглянулась. Около нее стояла Екатерина Александровна и смотрела на нее так, как будто она все знает.

Тося заслонила глаза рукой, точно по ним сейчас ударят, и вдруг заплакала. Последние Катины сомнения исчезли.

— Выйдем, Тося.

Они вышли в коридор и встали в углу фойе. Тося дрожала, как стебелек на ветру, и ждала. Заговорила Катя.

— Мне кажется...

Но Тося тут же перебила ее:

Вам все правильно кажется, но я... я не могла иначе И вы можете убить меня. Я сама, наверно, была бы рада не жить, но я не вольна ни в чем.

— Что, он волен?

— Да.

— Но ведь я могла хотя бы знать?

— Он говорил, что это невозможно. Да я и сама так считала.

— Почему же это?

— Потому что этого пережить нельзя. Нельзя быть женой Романа Андреича и потерять его... Нельзя. Он сказал, что вы покончите с собой, если узнаете, и я поняла, что он сказал правду.

— Я покончу с собой?

— Да, вы.

Она подняла на Катю глаза. В каждом было по огромной слезе, и Катя даже успела заметить, как Тося хороша сейчас.

Она посмотрела на нее пристально, спокойно – и так же спокойно сказала:

— Вы оба ошибаетесь. Я не покончу с собой. Не бойтесь, - прибавила она с усмешкой.

Глубокая, какая-то вековая усталость вдруг навалилась на нее. И в этот миг она увидела Романа, уже в плаще, с папкой под мышкой, еще разгоряченного, возбужденного, но уже с тревогой в глазах приближавшегося к ней. На Тосю он даже не взглянул. Будто ее здесь и не было.

— Катенька, я же ищу тебя. Почему ты здесь? Пойдем. Катя не двигалась с места. И вдруг взглянула на него так, что он испугался.

— Что с тобой?!

— Здесь не место объясняться, пойдем домой, - спокойно сказала она. Их опять обступили. Надо было пробиваться к выходу. И вот, наконец, Моховая.

— А где же Тося? - вдруг спросила Катя и сама же ответила: - ускользнула...

— Что с тобой происходит? Объясни! – Роман больно сжал ее руку. Лицо его сделалось белым. Ей показалось, что он может вот тут же, среди улицы, закричать и даже ударить ее. Такое у него было лицо.

— Дома, Ромочка, дома, — снова спокойно сказала она.

Он поймал такси. Попытался заговорить с ней в машине, но она сказала, что остановит такси и выйдет, если он скажет еще хоть одно слово. И кивнула на шофера. Тогда совершенно неожиданно он взял ее руку и поцеловал. Ее безжизненную руку.

— Что, что тебе наговорила эта девчонка? — сказал он с сокрушенным видом, когда они остались, наконец, вдвоем.

— Неважно, что она мне наговорила. Важно, что я ей ответила, — сказала Катя. — Я ответила, что не покончу с собой. Этого вам бояться не надо.

И тут он вдруг стал неистовствовать.

— Ложь! Ложь! Шантаж! — кричал он, топая ногами и стуча по столу.

Таким она его, кажется, еще никогда не видела. И — как он ей сейчас не нравился! Она успела отметить это про себя, а вслух сказала:

— Истерик в доме я не хочу. И Олесю будить не позволю.

Он вдруг замолчал, откинулся назад. Потом спрятал лицо в ладони. Когда разнял ладони, лицо было мокрым. Катя смотрела все так же холодно, пожала плечами.

— Катенька, деточка, — вдруг сказал он мягко и естественно. — Поверь мне, это пустяк, эпизод, не идущий ни в какое сравнение с тем, что связывает нас. Ты же умница, неужели даже ты не поймешь меня? Без эпизодов не проживешь, но они только оттеняют главное.

Катя усмехнулась:

— Так уже не шантаж, а только эпизод... Ты же говорил, что все — ложь, шантаж.

— Бывает правда ложью, совершенной ложью. Это не правда, а имитация правды. Ах, неужели ты не понимаешь!

— Это ты не понимаешь, — вздохнула Катя. — Я же сказала тебе, ясно и твердо, что кончать с собой не собираюсь. Нет уж, не собираюсь.

— При чем тут это?! Что за чушь? — он опять побагровел, а она была спокойна, совершенно спокойна. Она сама удивлялась своему спокойствию.

— Слушай, договорим утром, а сейчас я постелю тебе на диване.

— Что?! Ты меня отстраняешь?! — кажется этого он не мог допустить, не мог вынести совершенно. Он бросился на нее не то в ярости, не то в любовном порыве, и вдруг сел, положил голову на руки и застонал.

А к ней все не возвращалась жизнь, ни в каком проявлении. Она задала себе вопрос: а любит ли она его? И ответила другими вопросами: а что такое любовь? А есть ли она на свете? И зачем она?

Странно: когда и как он заснул одетым на диване, он не помнил. Помнил только, что Катя ушла в комнату Олеси, закрыв за собой дверь, а он остался сидеть один. Он вышел в коридор, заглянул к Олесе, в кухню. Никого. Пустой дом. И именно это

оказалось совершенно невыносимо. Он заметался по квартире и, кажется, с удовольствием разнес бы ее на щепки. Но пока ничего не пострадало, кроме пепельницы. Катиной любимой. Она лежала на полу, расколота пополам. И вдруг он испугался, нагнулся, стал прикладывать куски друг к другу, захотел склеить. Это был знак (он всюду видел знаки). Знак раскола. А он его не хотел. Нет, не хотел. Хватит. Он устал от расколов. И главное, было непереносимо думать, что Катя может так спокойно от него отказаться. Ему казалось это почти что предательством. Этого не должно было быть. Это – не имело права быть, иначе... что-то рушилось в картине мира. От него не должны были так просто отказываться. Да и не так просто – тоже. Вина? Мораль? Но все это вообще не имеет отношения к жизни. Ерунда. Детский лепет. А истинная жизнь... сметает это все. Как будто душу можно ограничить! Какая узость! Нельзя играть вечно на одной струне. Тогда никакой музыки не будет.

Что бы ни говорила Ольга алексеевна, он знает то, что знает. Каждая душа – это струна. Во имя Музыки надо отрываться от одной струны и касаться одной и ретей, но это не значит, что надо рвать каждую. У любви, как и у Поэзии и у Музыки, есть своя тайна. Тайна любви и есть Поэзия, а тайна Поэзии и Музыки – это любовь.

Прикосновения к каждой струне могут быть легкими и мимолетными, но не прикоснуться к ним, не отозваться на них нельзя. Не заметить Тосю, не откликнуться на нее – это все равно, что отвернуть лицо от весеннего ветра, не поглядеть на водяную лилию. Не могу, видите ли, — у меня брачное свидетельство в кармане.

Тося... он вдруг увидел ее всю... Чуткая, как веточка под ветром. Тоненькая Тося, почти умиравшая в его объятиях. Да ведь он дал ей такое счастье, которого она за всю жизнь не узнала бы. Она сама ему так говорила. И так оно и есть. А если за это приходится платить, ну так что ж?

Что, Ольга Алексеевна, вы, конечно, думаете иначе?

Он знает, что она ответит. Ну еще бы ему не знать! А знаете ли вы, многоуважаемая, что значит во всем доходить до конца? Не мочь остановиться? Что есть человек, который просто не может не доходить до конца? И интересно, что было бы со всеми этими женщинами, если бы не он? Да ведь все они только и мечтали, чтобы он дошел до конца. Он отвечал на их же желания. Как будто не он наполнял их жизнь смыслом и давал осуществиться самому тайному?.. И разве не о том же у Пастернака:

В третий раз разведенец

И, дожив до седин,

Жизнь своих современниц

Оправдал он один.

О том же самом! Разве не говорила Тося, что сто раз готова умереть за одну их встречу? Что она и не знала, даже не подозревала, что такое бывает? Нет, знала, именно знала, но в самом глубинном сне. Она не надеялась, что есть в мире человек, который видел ее сны, человек, навстречу которому вся, вся душа раскрывается. Раскрыться и умереть.

Он опять вспомнил Тосю с полузакрытыми глазами, с повисшими, как плети, руками. А ведь он иногда боялся, что она и вправду умрет... Но потом перестал бояться. Вообще, когда это повторяется каждый раз, когда уже все знаешь, когда все заранее известно, все исчерпывается. Еще немножко, и эта прекрасная сказочка окончилась бы. Такая нелепость, что это раскрылось теперь. Еще немного, и — цветок расцвел, цветок отцвел. Катя бы ничего не узнала. А Тося осталась бы на всю жизнь с благодарной памятью о великой любви.

И это — жизнь. А все другое — теории, теории, прекраснодушная чушь. Да, Ольга Алексеевна, именно так. Я знаю вашу теорию, что человеческая душа - это не струна, а все семь струн, не часть, а целостность, и что ее нельзя исчерпать. Знаю знаю. Только где она, эта неисчерпаемость? Что-то я ее нигде не встречал. Все повторяется. И исчерпывается. Зачем спорить с природой? Надо только знать природу вещей. И нечего создавать свою природу. Свою утопию.

Все настоящие поэты не могут не доходить в каждом своем порыве до конна. Отсюда все. Если бы Цветаева могла бы остановиться на полдороге и в чем-то ограничить себя, не

было бы гениальной Цветаевой.

Да, все эти «Искусства при свете совести» - все повороты Пастернака к опростенчеству в искусстве (то же толстовство) - утопии, очередные утопии, которыми мы сыты по горло. Хватит. Если на одной стороне гениальность, а на другой - мораль, то пусть человечество выбирает.

* * *

Озеро было совершенно спокойным. Ни дуновенья. Все застыло. Оно казалось огромным опрокинутым колоколом, собирающим внутрь себя тишину. Есть

немножко...еще, и – колокол зазвенит от внутреннего переполнения. Тишина перельется через край и станет звоном.

А может быть, сердце тоже – вот такой колокол, держащийся в пространстве ни на чем и наполняющийся тиши-ной? Наполнится и зазвенит. От внутреннего переполнения.

Только бы ни ничто, ничто не коснулось его, пока тишина не дошла до края. Только бы никто не помешал наполняться, наливаться тишиной!...

Никто не мешает. Человек стоит на берегу озера. Так неподвижно что его можно было бы принять за дерево. А тишина, живая движущаяся тишина прибывает, как вода в половодье. Еще немножко, и - затопит берега, пойдет через край.

Вдруг он раскинул руки, точно охватывая весь простор, и – засмеялся.

Казалось, он сейчас способен сделать что угодно - переплыть озеро одним махом, взлететь, или пробежаться по воде, как по траве... Все, все - мог!

Ликованье! Ликованье

Голосов весенних!

Это внутреннее знание,

Внутреннее зренье!

Это воздыманье вала

Через все пределы.

Жизнь сама себя узнала

И — захлеб запела!..

Я... Все — я! Всюду — я! И — ничего другого. Ничего — чужого, ничего — внешнего. О, Господи!

Все, что есть, это я; а меня отдельного, вот этого человека — и нет вовсе!

Что значит счастье? Счастье — это

Не я; исчезнувшее «я».

Совсем чиста душа моя.

Совсем порожняя посуда,

В которую втекает чудо

Из половодья бытия.

Не я, не я, а только это

Сплошное половодье света,

Разлив Вселенского огня.

Есть только Он, и — нет меня!

Его и вправду не стало. Хотя был же он, еще как был! Но это крохотное тело и весь огромный мир вполне поладили, приладились друг к другу. И вот просто стали одним целым. Отдельность — это болезнь, это вывих. Сейчас все на своих местах и не заметно само себе. И это-то и есть счастье.

О, этот ветер меж мирами, Раздувший маленькое пламя Души за страны и края!
Великий ветер благодатный Мой Дух! Так этот необъятный И вездесущий — это Я?!

Я... Я... Все — Я, но... Откуда берется эта боль? Откуда ей взяться, если все — я?!
Значит, что-то мне ее причиняет? Значит, я — не все, я — не Беспредельность?!..

О, какая боль! Даже не боль — удушье. Какие-то железные тиски сдавливают левую сторону мозга, позвоночник.

Вот и левая рука, и левая сторона лица уже сдавлены железом. Сердце начинает выскакивать. Левый глаз закрывается. Еще... еще... но этого уже нельзя, невозможно вынести. Кто-то выдавливает мозг из черепа и позвоночника — как пасту из тубика. Все. Предел перейден. И — начинаются конвульсии.

Он все чувствует. Сознание не отключается. Нет, не отключается. Это длится, пока не уходят последние силы. Иссякают. Нет сил.

Он лежит и смотрит в небо. Огромное небо, которое так недавно переполняло его, наполняло таким ликованием... Огромное небо, которому он только что был причастен, вдруг отторгло его, отделилось от него и висит над ним — равнодушное,

молчаливое, точно и не знало его никогда и не сливалось с ним в одно, точно он не живая часть его; и оно так спокойно может без него обойтись...

«Отче, зачем Ты оставил меня?!..»

Молчание.

— Ну, что тебе ответил твой Отец?

— Ничего не ответил. Все ответил.

— Что же все-таки?

— Замолчи. Из-за тебя не слышно Его ответа. Впрочем, ты - тень моя. Это мне надо замолчать, тогда замолчишь и ты.

— Замолчать сейчас? Не иметь права даже на стон? Да кто же это сможет?

— При чем тут право? Кому предъявлять права? Кого просить? Никого вовне нет. Все — внутри.

«Смирения и молчания... Молчания и смирения», — шептал человек и вот — утих. И тогда услышал Небо.

«Отче, вот он — Твой ответ. Он не отделяется от Тебя самого. Ты и есть ответ. Ты есть. Что же мне нужно еще?»

Пока мне нужно что-нибудь, кроме Тебя, до тех пор у меня есть тень.

Ничего, ничего кроме Тебя мне не нужно. Если Ты оставил меня, значит, и я оставлю себя. И буду с Тобой, а не с собой.

Господи, как тихо!.. Как тихо снова!.. Никого. Ничего... Все — во мне".

Когда весь мир внутрь сердца уместен.

Смолкает разногласие земное.

Создатель шумом мира оглушен,

А разрушитель — полной тишиною.

Он задохнулся. Он вот здесь, сейчас

Иссяк. Черта. За ней — исчезновение.

И значит ты на самом деле спас

Всех тех, кто ждет и молит о спасеньи.

И вот, почти ослепнувши от слез,

Всем сердцем входишь в тишину такую,

В которой хор вознесшихся берез

Внезапно возглашает: «Аллилуйя!»

Он сидит, прислонившись спиной к стволу. Из глаз его текут слезы. Он их не вытирает. Он знает, что этот великий тишаиший час пройдет. Но он знает, что это ничеш не значит. Он знает, что тень появится снова, но он знает, что это — тень. Да, она уже здесь...

Сколько людей думают, что они верующие, но знают ли они, что это такое?

— А ты знаешь?

— Да... знаю... Это трудно. Это почти непредставимо о»то — сдвигать горы.

— А ты сдвигаешь?

— А как же мне еще жить? Если я не сдвину гору вот сейчас, ты раздавишь меня. Ты — гора.

— Да, я — гора. Но я не буду давить тебя, если ты не будешь сдвигать меня. Подчинись мне, скажи, что ты — ничто передо мной, что человеку никогда не сдвинуть гору и живи в пространстве, которое тебе отведено.

— Тот, кто меня создал, раздвинул горы, чтобы я родился на свет. Он дал мне пространство и время. Но пространство и время конечны. Они даны мне, чтобы я сам научился сдвигать горы и входить в Бесконечность.

— И ты научился?

— Я учусь. Все время учусь. Мое пространство и время уже кончились, и я живу теперь только, пока сдвигаю горы лотя я делаю это еще с таким трудом!..

— Но как же ты это делаешь? Как ты, человек, можешь сдвинуть меня — Гору?!

— Но ведь ты — тень моя.

— Это я — тень?! Я — Гора!

— Гора... но ты – тень моя. Кто бы ты ни был, хоть земля и небо – это все проходит. Одна любовь не проходит.

Только Любовь – Сущее, а все остальное – тень, образ, созданный вечной Любовью. Образы можно любить, но им нельзя поклоняться. Никакой образ не может быть моим господином. Гора, - ты тень моя! Сдвинься!

Человек тяжело дышит. Огромная тяжесть надвинулась на его мозг. Сдавила. Сейчас расплющит. И начнется поединок. Кого с кем?

Горы с Любовью.

Гора – перед глазами.

Любовь – внутри.

— Сдайся, тебе не одолеть Гору! Неужели ты мнишь себя всемогущим?

— Всемогущим? Нет. Я, может быть, самый немощный на свете. Я, этот смертный человек, меньше песчинки. Но любовь моя....

— Разве любовь твоя защитит и спасет тебя?

— Только Она и спасет. Если я обращаюсь к Ней. К ней одной. Если Ей поверю.

— И ты веришь?

— Имкуситель... Ей верить трудней, чем тебе. Твоя мощь – перед глазами. Ее – внутри. Но если я сумею обратиться внутрь...

— Сумеешь ли?

— Тогда я увижу, что ты - тень. Ты то, что имеет начало и будет иметь конец. Ты - проходишь. Твоя власть только над конечным. Над бесконечным ты не властен.

— А ад? Разве ад не бесконечен?

— Ад... Это когда смертный не желает умереть, а бессмертный не желает жить. То, что может пройти, пусть пройдет. Я в том, что пройти не может. Тень Вечного, ты не можешь владеть Вечным. Между мной и Мной ничего нет. Нет внешнего Господина. Мой господин внутри меня.

И вот между человеком и озером - опять ни-че-го. Но, кажется и Самого человека нет, таким он стал неподвижным и прозрачным. Только один покой озера был. Это было чис- тое бытие, которое росло, как дерево. Не видимое глазам, оно пробивалось сквозь поры сердца и раздвигало сознание.

И вот оно уже перелилось через край к руке, к кончикам пальцев. Они потянулись к кисти, и на натянутом холсте стали появляться штрихи картины. Это было продолженное, проросшее бытие, — отраженный, вспыхнувший в многограннике свет, удвоенный, утроенный, удесятеренный. Это был акт творения. Это был прорыв к Источнику.

Картина родилась. Была. На полотне появились, как бы проступая сквозь пространство, раздвигая его, какие-то пралинии, предначертания, чертеж Создателя, по которому строился этот мир. Глаз художника только увидел, угадал, очистил эти линии. И вот Дух парит, развернув огромные внутренние, пронизывающие весь мир крыла. Крыла и ось, которую они пересекают, с которой составляют одно — вот он, незримый, предначертанный Крест... Так что же такое Крест? Мука или торжество? Запредельное бесконечное торжество, исполнение Божественного Замысла! Торжество этого расправленного, всеохватывающего Беззвучия! Оно сзывает в себя всех, как мощный колокол. Причаститесь ему! Поддержите его, и торжественное всемогущество проступит в вас, как эти линии в рассеивающемся тумане.

О, сколько же надо сил, чтобы собрать эту держащую мир тишину!..

Художник сидел в изнеможении, положив голову на руки. Он сотворил нечто истинно живое. Он? Нет, — Тот, кто внутри него. Он хорошо знал, что сам он — ничто. Да, я, Эфраим Аданов — никто. Имя мое сотрется, глаза закроются, тело истлеет. И однако я сущий и вечный. Тот, у кого нет ни имени, ни лица, ни тела. Но он есть. Я есть. И всегда останусь Тем, кто Есть. Меня нельзя разобрать на части. От меня ничего нельзя отнять и мне ничего нельзя прибавить.

Все то, что можно взять, — бери.

Я в том, что взять нельзя.

— А ты понимаешь, что ты сказал? «Все то, что можно взять, — бери!» Ты сможешь обойтись безо всего смертного, преходящего, внешнего? Ты можешь отдать все, до последней капли? Да понимаешь ли ты, что говоришь?

— Творец творит все заново из ни-че-го.

— А ты сможешь быть Творцом? Совсем уподобиться Ему? Обойтись совсем без внешнего?;

— Нет Не смогу. Я всего лишь человек. И не смогу вынести больше, чем человеку дано. Один, во всяком случае не смогу. Без равносущной души. Нет, не смогу. Но... у меня нет другого выхода. Смогу я или не смогу, но я должен нести, и я буду нести.

— Но зачем?

— Зачем?.. Так мне велит Любовь.

— Все отдать и остаться с ничем?

— Да. Чтобы не иссякла любовь, должен иссякнуть я.

— Иссякнуть? Совсем?..

— Да совсем. Иссякший человек есть неиссякающая любовь Иссякший человек - это распахнутая настежь душа у которой нет ничего своего. Душа, которая ни у кого не отбирает простора, а только прибавляет его. Душа, которая выдыхает в мир небо. Все небо.

Не тесно ли вам, люди? Идите сюда! Помогите мне раздвигать пространство! Я зову вас сюда, в эту ширь, в эту нескончаемость.

И вдруг голос оборвался. Его перерезал внезапный крик. Какой это был крик!

И человек рухнул на землю, забившись в судорогах. А где-то между этим дальним концом озера и пансионатом гуляла группа людей. До них донесся отголосок непонятного крика. — Что это? - спросила молодая девушка у своего спутника — Птица какая-то? Как тревожно!..

— Не знаю, милая. Мало ли в этом заповеднике незнакомых птиц и зверей...

* * *

Ефрем Аданов. Ефрем Ионович. Эфраим... Ремка... Да когда-то это был Ремка Чокнутый. Ремка пучеглазый Ремка, без которого мальчишкам в классе было бы очень скучно жить, потому что дразнить его - это было особое ни с чем не сравнимое наслаждение.

Начни на его глазах бить собаку - и он так заорет, точно его самого убивают. Тогда собаку отпускали и науськивали на Ремку. И бывало, что она кусала его. Да... Так было. Он до сих пор помнит собаку Шурку, которая содрала кожу с его ладони, с руки,

которая ее защищала... Это была его первая страшная обида в жизни. И такое недоумение! Почему.

За что?

Ладонь зажила. А вот с душой было не так просто. Стал Рема каким-то молчаливым и точно глухим. Раза три позвать надо было, чтобы он ответил. И то отзовется не весь: голова повернется, голос глуховатый, медленно скажет что-то, а внутри все застыло и молчит.

Душа ожила в нем только после одного памятного дня в лесу. Было это после грозы. Вдруг вышло солнце. И осветило весь намокший лес. И тысяча капель зажглись на огромной ели, как будто тысяча солнц разом.

У Ремы перехватило дыхание. Он чуть не ослеп. А потом ему показалось, что что-то острое и жгучее вошло в его грудь, да так там и осталось. Это была боль, которая лечила от боли. Точно боль на боль и давала счастье...

Хотя не всякая и не всегда. Боли было много. Чем больше он рос, тем больше. Не одна содранная ладонь — сплошная содранная кожа.

И вдруг — сияние радугой через всю, грудь. И — снова можно жить. И терпеть все можно.

Ребят он вовсе не сторонился. Даже тянулся к ним. Но вот настоящей дружбы все не получалось. И он очень тосковал по ней.

Ему было уже пятнадцать лет, а он так и остался Ремкой Чокнутым. Но теперь эта кличка произносилась как-то ласково-снисходительно. Ну Чокнутый, ну ладно — вообще-то все-таки свой парень. Конечно, не совсем: чудной какой-то, в самом деле чуть чокнутый, а все-таки... Его только попроси — и сочинение за тебя напишет, и задачки решит. А главное, книжки умеет рассказывать, как никто. Уж это точно. А в остальном... в остальном без него можно обойтись.

И вдруг — начало 53-го года. «Дело врачей». И все вспомнили, что Рема еще и еврей. Это всегда знали, конечно, но махали на это рукой. Ладно, пусть еврей. Но оказалось, что это не так безобидно. Учительница истории долго говорила о том, кто такие «убийцы в белых халатах». Она даже сказала, что очень часто у «них» фамилии бывают русские и имена тоже, но это как раз особенно опасно. Газеты каждый день раскрывали псевдонимы. И вот однажды к Реме подошел приятель и сказал: «Интересно, почему ты Ефрем,, да еще Аданов, да еще — Иванович?» У Ремки вся кровь прилила к горлу.;

— Во-первых, не Иванович, а Ионович, а во-вторых, во-вторых... — больше он сказать ничего не мог.

— Да брось ты, не обижайся, - сказал другой приятель. — Но все-таки, понимаешь, - ведь это все про евреев говорят и все их не любят. Понимаешь, раз все, то что-то в этом

есть. Задуматься надо.

И Рема задумался.

Прежде всего он спросил у родителей, зачем они его назвали Ефремом. Зачем вам надо было подлаживаться под русское имя?

— Никто не подлаживался, - сказал отец. - Назвали тебя по деду. Ефрем, надо тебе сказать, совсем не русское имя, а еврейское. Эфраим - так это звучит по-древнееврейски. С тех пор Ремка и стал говорить, что он Эфраим. Почувствовал ли он себя настоящим евреем? Он метнулся в эту сторону. Захотел познакомиться с историей народа. Стал читать Библию. И, может быть, там-то и понял впервые, что такое «все». - «Все», - это те, кто отливают золотого тельца пока пророк молится один на горе; все - это те, которые побивают пророков камнями... или те, кто распинает того, Одинокого... Окунувшись в Библию, он понял, что мир делится не на евреев и неевреев, не на народы, не на страны, и не на классы, - мир делится на битых и бьющих, на тех, кому больно, и тех, кто не знает, что такое боль.

И вот как-то, на перемене, к нему подошла Светлана Неверова и сказала тихо, почти шепотом, глядя ему в глаза: «Да успокойся ты, на тебя же смотреть невозможно. Все они твоего мизинца не стоят. Зачем ты так волнуешься?»

У нее были две чудесные льняные косы. Кончик одной из них она взяла себе в рот и грызла его от смущения. И так вот, с этим кончиком во рту и вошла в его сердце и разрослась в нем — все заняла.

Он и раньше любовался ею издалека. Ему нравились ее движения, ее прозрачной голубизны глаза, ее тихий голос.

Но теперь... Теперь...

Они стали дружить. Когда прекратили дело врачей, четвертого апреля, Светлана вбежала в класс и - куда девалась ее обычная тихость? Во весь голос закричала: «Эх вы. Вот вам - убийцы!» И — заплакала.

А Ефрему хотелось с тех пор только одного: сделать ей что-нибудь такое, чего еще никто никогда не делал. Достать какую-нибудь жемчужину со дна морского. На самом деле достать. Конечно, не буквально. Но вот что-то такое...

Он еще совсем не знал, любит ли его Света, и очень робел, терялся перед ней. Они кончали уже девятый класс. Начался десятый. Их всегда видели вместе, но он-то хорошо знал, какая тоненькая ледяная пленка остается между ними. И боялся притронуться к этой пленке. Иногда ему казалось — если притронется, пленка превратится в толстую корку льда. Или другое, что-то страшное случится... Необратимое... И он все медлил и медлил.

Но вот как-то в сырой ноябрьский день, когда они бродили по Нескучному саду, он увидел изморозь на ее волосах. Капельки стекали по лицу, подкатывались к ее губам. И тогда, вдруг подняв глаза, он приблизил лицо к ее лицу. Она не отодвигалась. Не пугалась. Точно ждала. И он дотронулся губами до ее губ.

Ему показалось, что он дотронулся губами до розовых лепестков. Это на самом деле были лепестки, а не губы — нежные, беззащитные и — прохладные. Ответила она ему или нет? Нет, наверное... Лепестки не раскрылись. Но глаза смотрели нежно и доверчиво. Не оттолкнула и не приняла.

А он дрожал мелкой дрожью и поклялся себе, что следующий раз притронется к ней только, когда принесет ей жемчужину с морского дна.

И принес.

Они оба уже были тогда студентами. Он давно писал стихи. И все отдавал ей. А потом отбирал и рвал. Она очень огорчалась. Обижалась даже. Но он не мог иначе. Он стыдился того, что написал месяц назад. И картины писать стал. И — тоже уничтожал. Поступили она оба в архитектурный. Там с ним и случилось ЭТО.

Он тогда почти что отчаялся. Боялся к ней приблизиться, потому что все в нем было не так. И в нем, и в мире. Он никак не мог понять, как это можно жить и быть счастливым, когда за стеной кто-то умирает, когда ребенок тянется к матери, а она — холодная; когда на свете есть безумные. Да, безумные. Что может быть страшнее этого? Как это человек может перестать быть человеком и все еще оставаться жить?!;

Калеки увечные... Он с каждым калекой становился калекой с каждым слепым погружался во тьму. Но безумие... безумие... Как разделить безумие?! Однако, кажется, он готов был разделить и безумие. Кажется, и оно готово было приблизиться к нему...

А Света... тихая, чудная Света, она как-то жила в этом мире, как растет цветок, как-то умудрялась сохранять весь свой аромат, нежность и красоту. И это так нужно было! Ну что бы мир делал без цветов, без деревьев? «Как хорошо, что свет, играющий в листьях, не знает, что человек умеет лгать». Это маленькое стихотворение Тагора, случайно услышанное от кого-то и запавшее в душу, вспоминал Ефрем, глядя на Свету.

Она была и все. Как хотел он научиться у нее вот так же просто быть, несмотря ни на что, просто быть... И как хотел он хранить ее ото всего на свете, в том числе от самого себя...

И настал такой день, который пережить, казалось, было невозможно. Точно стягивался узел на его горле. Еще немного и его не будет. И тут вдруг и произошло ЭТО.

Когда тьма сгустилась до полной черноты, ее всю мгновенно рассек Огонь. О, какой это был Огонь! Тьма густая, плотная, удушающая, занялась, как лист бумаги от факела, свернулась и сгорела. Все страдания сгорели. Сама смерть, само небытие сгорело, а Огонь все сиял и сиял!

Тогда, в детстве, на той послегрозовой ели - это было далекое предвестие. А сейчас огонь был в нем, внутри. Это было внутреннее сияние. Это было возрождение к жизни. Воскресение. Преображение.

О, что с ним стало тогда! И он пошел к ней, к ней, к ней. Теперь у него была жемчужина со дна морского! Со дна миров. И вот тогда-то и случилось самое страшное: она увидела его и вдруг отшатнулась, как будто он и вправду был весь в пламени и мог поджечь ее. Да, она заслонила руками и вскрикнула:

— Не подходи!

И этот ее страх перед ним вдруг разом отнял всю его сверхъестественную силу. У него точно поломались его огненные крылья.

Она его боялась. Его жемчужина, добытая со дна миров, сияющая жемчужина предвечности была не нужна, была страшна ей...

Вот после этого и стала приближаться его болезнь.

Когда в первый раз голову сдавило железными клещами, и его мозг, казалось, сжался, сузился до точки, он взмолился: если это продлится еще хоть один день, Господи, возьми меня из жизни! Дай, дай мне умереть!

Его отпустило тогда. Но потом пришло опять. И еще, и еще. А потом уже наступило так, что больше и не уходило. Мозг и позвоночник были сжаты и уже не разжимались. Менялась только степень сжатия. Сильней, сильней, еще сильней. И вдруг — эти страшные конвульсии.

А он все еще ходил в институт, пытался учиться, работать. Пока его однажды не подобрали соседи на улице и не принесли разбитого домой.

И он слег. На пять лет. Из них два года провел в больнице. Самое страшное было это ощущение подвешенности в воздухе. Точно он уже и не жив. А все еще жив. Присутствие в мире требовало невероятного напряжения. Он однажды сравнил это с тем, как провисел на трамвайной подножке целую остановку, держась одной рукой, на волоске от того, чтобы сорваться. И вот так было теперь. О, сорваться бы!..

Но он не мог. Не мог. Какие-то силы не давали ему ни сорваться, ни освободиться от напряжения. Только когда оно доходило до последней черты, начинался припадок.

А сознание его оставалось ясным, совершенно ясным. Ни на минуту не давало возможности отключиться. Как он мечтал об этом! Никогда! Все было отнято. Он не мог ходить. Видеть и слышать было великим мучением. Он не мог читать, не мог слушать музыку. Ему было очень трудно разговаривать. Была немыслимая, воистину неопишуемая мука — и ясное, абсолютно ясное сознание.

И это сознание заставляло скрывать свою муку, насколько возможно, потому что видел он, что люди, даже самые любящие, не могут ни понять, ни вынести этого. Не по силам им это. Нельзя им. Мать и отец каждый день приходили в больницу, и он улыбался им и расспрашивал обо всем, что происходило и как бы уводил от бесплодного их горя в жизнь, в обычную жизнь. И это ему почти удавалось. Хотя, Господи, как он сам был далек от этой их обычной жизни! — по ту сторону.... Но откуда-то, с той стороны, точно с другой звезды все видел, слышал, чувствовал за всех.

Все было далеко от него - и эта посюсторонняя жизнь, и его собственная, приоткрывшаяся в том, Огне, предвечная глубина. Он уже не мог отделиться от нее, но и соединиться тоже не мог. Точно повис между мнрами... И жил каким-то запасом сил который не пополнялся.

Все его любили так, как никогда еще не любили. Друзья, соседи по палате, врачи, сестры. Все чувствовали в нем что-то особое, точно от одного его присутствия им становилось легче. Но его ли они чувствовали? Или какой-то след от него?...

«Ты сильный, ты все сможешь», - говорили ему люди очень убежденно, почти с завистью. И, наверно, они были правы. Но...он оставался один на один со своей мукой. Все были около. Всегда около... Точно он был огражден железной стеной. Внутри стены не входил никто... И никто не мог бы, кроме Того, кто выдержит, кто разделит с ним тот Огонь. Но где же Он, тот, кто выдержит?!

О, как он Его звал! Как молил! - Молчание. Стена.

Света приходила в больницу почти так же часто как мать. Света бы жизнь отдала, чтобы помочь ему. Но он сам просил ее приходить реже. Он очень ее просил. Он сказал, что она мучает его, увеличивает боль.

— Живи, - сказал он, - мне этого надо. Мне Свет нужен свет и жизнь, пойми это. А тебе здесь - не светло. Это не для тебя. Я сейчас где-то по ту сторону. А ты на этой.

Собери свет, столько света, чтобы он и ко мне дошел. Вот что мне нужно. А ты не то делаешь. Оставайся самой собой – вот и все, что мне нужно. Не измени себе, тогда ты и мне не изменишь, что бы ты ни сделала...

Одн:жды он проснулся посреди ночи. В палате было совершенно тихо. В окно светила полная луна. Он медленно сел на кровати. И с радостью ощутил честность одиночества.

Да, одиночество есть все время. И какое одиночество! Только оно всегда на людях. Он окружен друзьями, окружен такими любящими людьми...

А сейчас - никого. Тихо. Соседи спят. Луна светит. И никто не встает между ним и Богом.

«Был человек в земле Уц, имя его Иов...»

Да, и к Иову приходили друзья и окружали его и смотрели на него, и молчали от потрясения и плакали. А потом говорили с ним. И что им было еще делать?

Принято обвинять друзей Иова. А в чем, в сущности, их обвинять? У Иова были хорошие друзья. И они очень сочувствовали ему. И кто знает, может быть, и жизнь отдали бы, если бы могли ему помочь этим. Да, отдали бы. Кто-нибудь из них мог и жизнь отдать. Это были настоящие друзья. Но они не могли помочь Иову, даже если бы за него отдали жизнь. Они не могли помочь, потому что они были около него, а не одно с ним.

Ефрем взглянул вокруг, на морно спавших соседей. И мысленно благословил их. И некоторое время ни о чем не думал. Только глядел на голубые полосы лунного света.

«А я? – снова потекла мсль. – А я сам? Разве я не был таким же другом Богу, как друзья Иова – Иову? Я любил Его, любил, конечно... Но я был около, а не внутри. Я не делил с Ним Его сущности.» Он почувствовал, что к горлу подходит спазм. Сейчас он разрыдается. Но он сдержался.

Делить с Богом Его сущность – это значит смочь вынести все и остаться самим собой. Без всего внешнего. Лишенным всего, что может быть дано извне, и – живым. Делить с Богом Его сущность – значит принять все, все условия и остаться необусловленным. Пройти сквозь ад и убедиться, что ад ничего не может сделать с тобой. Ты больше ада.

Принять все и не отчаиваться. Так вот, оказывается, для чего оставлено ему сознание!...

Когда медсестра валя пришла в шесть часов утра с градусниками, она застала его сидящим на постели.

— Сел! – воскликнула она и прослезилась. – Ефремушка - то наш – сел!

Ефрем уже несколько дней был свосем неподвижен и вдруг сел. Она побежала за дежурным врачом. А Ефрем сказал тихо и твердо: «Вы позвоните пожалуйста, моим роднтелям. Пусть меня заберут из больницы. Я сегодня же должен быть дома. Жить или умереть – но дома».

Что-то в его голосе в этот день было такое, что его слушались все. Отец и мать приехали с утра. Оба не пошли на работу. Отец на руках снес Ефрема в ожидавшее такси. Был

Ефрем исхудалый и легкий, как перышко. И вот — дом. Его комната. Его постель!..

Еще три года лежал он дома. Его подвозили в кресле к окну. Окно, по счастью, выходившее в парк, раскрывали даже зимой, и он, укутанный в одеяло, неподвижный, глядел на деревья и жил вместе со светом, по свету, встречая и провожая его.

А через три года он встал. Нет, болезнь его не прошла. Мозг и позвоночник по-прежнему были сдавлены. Но он научился жить в этих тисках, — он это называл «подныривать под болезнь», — жить на тех пластах, которые глубже боли.

Болезнь не прошла, но она уже не владела им. Скорее он стал овладевать ею. Научился жить заново, в новых условиях, беря силу в этих глубочайших пластах бытия. Только бы его не отрывали от них!..

Всему научился заново. Ходить. Писать стихи. Писать картины.

Так прошло двадцать с лишним лет.

Друзья помогали ему, очень помогали. Может, благодаря этой помощи он и смог выжить.

Света давно вышла замуж. У нее был уже взрослый сын. И была она Ефрему близким другом. Через всю жизнь — самым близким.

А в одинокие, тихие часы, чаще всего лунными ночами, когда он просыпался один в комнате, Ефрем садился на своей постели и просил у Бога прощения за то, что все еще бывал порой только другом Ему, только другом...

* * *

Какая просторная, прекрасная комната... Огромное окно во всю стену. Чувство простора и тишины, — вот это охватило Ольгу, едва она вошла сюда. «Господи, наконец-то!» — прошептала она, опускаясь в кресло. Не хотелось еще раскладывать чемодан, не хотелось шевелиться. В огромное окно втекали сумерки. Склоны холмов прятались во мглу, но все еще синели, лиловели, — дышали. В комнату входило их дыхание, так же как дыхание самого озера, едва просвечивавшего сквозь леса. А надо всем этим — небо... звезды... Одна, другая... вон еще одна... и еще.

Ольга всматривалась в звезды, и вдруг одна особенно крупная, как большая хрустальная капля, точно посмотрела ей в глаза. Что она напоминает ей?! Ах да, тот сон... Вот точно такая же хрустальная капля висела над крестом приснившейся заснеженной церкви в предрассветном голубеющем городе. И такое же чувство огромности простора и тишины. Точно в свой сон попала.

А небо темнеет, темнеет.... Вот уже стало неразличимо ничего, кроме темных силуэтов

Холмов и звезд, сделавшихся совсем яркими. И тогда Ольга мдленно встает, достает из чемодана лежащую сверху икону, ставит ее на стол, прислоняя к незаженной лампе. А около нее ставит тоже привезенную с собой свечу в легком резном подсвечнике. Зажигает.

Время остановилось. А пространство... Оно есть, но как будто на другой планете. Все они еще теснятся в ней. И, может быть, за всех за них — свеча пед иконой.

Господи, как хорошо, что в комнату никто, никто не войдет. Никто, кроме наплывающего неба, звезд и черных силуэтов гор.

«Все, что у меня есть в жизни, это, может быть, только это окно», - думает ольга, - и вот это окно она хотела бы оставить после себя, передать. Кому? Она не знает. Кто возьмет?

Да, несмотря на десятки, сотни обожающих глаз, несмотря на множество благодарных выпускников... Кто возьмет?

И тут она вспомнила слова одного индийского учителя: «Самое редкое - это настоящие ученики. Учителей много. Все может быть учителем. Дерево может быть учителем. Учеников нет». «Как это точно! - думает Ольга. Если что-нибудь есть во мне настоящего, так это то, что я была, наверно, хорошей ученицей. Была и есть. Потому что ведь и сейчас еще ученье не кончилось». Да, она не знает, какой она Учительницей, а вот ученицей хорошей, кажется, была...

Ольга смотрит на свечку, и губы ее что-то шепчут. Пламя свечи дрожит. Или это в окне вздрагивают ветки? И то и другое. И сердце тоже вздрагивает... А из дрожащего пламени и колеблющихся веток вырисовывается лицо. Оно закрывает собой окно. Оно еще прозрачно, и сквозь него видны силуэты деревьев. Но.... вот оно уплотняется, приближается и закрывает все. — Катя...

Какое спокойное, прекрасное по-своему лицо... Она всегда была красавицей, ее Катя. Ну, а сейчас она просто ослепительна. Так все вокруг говорят. Да, Ольга и сама видит, но... что с того? Катя выпустила книгу о поэзии Серебряного века. Книга нашумела. Катя сразу вошла в моду, стала знаменита не меньше, чем ее отец. Она очень достойно держится в этой новой для нее роли. Просто и достойно. Безо всякого высокомерия, но очень уверенно. Как человек, который знает цену себе, жизни, людям.

Жизнь свою она, можно сказать, построила, как здание по давно написанному плану. Давно начала обносить себя защитными стенками. Ольге так хотелось снести их все, а Катя строила и строила. И вот выстроила целое здание. Туда без пропуска не войти. Даже матери. Может быть, особенно матери. Для кого же эти хоромы? — Ольга тяжело вздохнула. Катя опять одна. Впрочем, может уже не одна. Ольга не уверена, но — все равно одна.

— Любви нет, мама, — сказала Катя ей как-то очень веско и твердо, как она все теперь говорила. — Любви нет, а то, что есть... Ну, это будет и у меня.

Ольга подошла к столу и стала смотреть на икону. Погружаться в лицо Богоматери. Это отрешенное ото всего лицо, связанное крепчайшими узами с каждым сердцем. Отрешенное ото всего... Да... Все потеряла и вновь готова потерять. В ней осталось только то, чего потерять нельзя, и — этого довольно... — Лик...

«Мать Божия», — губы Ольги стали что-то беззвучно шептать, глаза наливались слезами. «Олеся... Олесю оставь, помоги уберечь»... Если бы можно было вымолить, чтоб с Олесей такого не случилось!.. Если б можно!.. Неужели еще раз можно пережить такое?"

Глаза Богоматери глядят так же спокойно. Но ведь это покой не только за себя, но и за нее, Ольгу. Покой, но он ни от чего не ограждает. Напротив- всему открыт. «Я тебе ничего не обещаю. Ничего. Кроме – любви. Нескончаемой. Все могущей перенести...»

Грудь начало сжимать. Потом отпустило. Она тихо прислонилась лбом к иконе. Потом снова повернулась к окну. Окно было все так же полно веток и звезд. Огромное... Без дна...

«Девочка моя, девочка моя... Еелн б ты когда-нибудь хоть на мгновение увидела бы это так, как я это вижу!...»И тут же услышала Катин спокойный голос: «Каждый видит по-своему, мама. Я гляжу своими глазами, а не твоими».

— Да-да, конечно, своими, я и не хочу, чтоб моими, не дай Бог, но –

Когда б мы доглядели до конца

Один лишь миг всей пристальностью взгляда...

То нам другого было бы не надо

И свет вовек бы не сошел с лица...

* * *

Ольга проснулась утром с чувством великого, почти неправдоподобного счастья. Точно она только что родилась, но вот не младенцем, а самой собой, какая есть сейчас, какой, кажется, была до рождения. Окно... Ну да, это все – окно! Огромное, во всю стену окно на Сариклен; а за окном!... Господи! Она спешит, двигается быстро,

молодо, идет в душ, брызгается, одевается, расчесывает свои седые волосы, так, точно это ее прежняя, поражавшая всех каштановая коса, слегка улыбается зеркалу, во все лицо - окну. И- выходит.

Еще никто не встал. Еще самый ранний час. «Прямокак в том сне - вспоминает она, - только не зима и не город, а...». Дух захватывает. Она не может произнести это имя...Са ри-клен... «Сариклен, - шепчет она и спускается по холму. А деревья расступаются и расступаются перед ней, и чем дальше она идет, тем больше узнает, и тем труднее ей идти, точно ее обступили дорогие, самые родные на свете души. Они заждались ее, и нельзя же, проходить мимо, но и останавливаться здесь тоже нельзя. Ведь ее ждут... ее ждет... Ну, вот они, сарикленские вязы... Вот он, первый, огромный, как целый лес, как целая жизнь. А сквозь него! — Здравствуй, Сариклен...

Ольга садится на очень широкую, почти параллельную воде ветку вяза и... плачет. «Простишь ли ты меня за то, что я так долго, так долго не ехала? Прости... прости...»

На воде появляются уже первые розовые перышки. Заря, еще совсем бледная, медленно разгорается. И каждая такая минута, как восхождение шаг за шагом на великую гору. Только тут чем ты неподвижнее, тем вернее поднимаешься. Тут все дело в абсолютной неподвижности, позволяющей всему, что совершается, совершаться и в тебе. Еще шаг... еще, и — птицы отряхиваются от сна, пробуют голоса, точно настраиваются инструменты оркестра, и вдруг — слаженный грянувший хор! Значит сейчас, вот сейчас Оно взойдет. Птицы никогда не пропускают этой минуты. Они хорошо знают свои обязанности. Это они поднимают солнце. Не поднимут — не взойдет. Но — вот Оно!

Теперь скоро начнут подниматься люди, и надо уходить дальше, дальше — туда, на тот конец, к тому месту. Туда никто не забредает. Так было когда-то. Так должно быть. И она идет вдоль озера, заповедными лесами — час, другой... И вот он — тот сосновый склон, дальше которого двинуться нельзя.

Как и в первый раз, когда она еще молоденькой девушкой дошла до этих сосен, она почувствовала: дальше ни шагу! И — остановилась. А сосны и озеро — пошли. Внутрь. В нее. Господи, какая тишина!.. Тишина, в которой можно расслышать, как растет дерево. А Озеро... Озеро всматривается в нее своими пронзающими глазами. Она — нужна Ему. «Делай со мной все, что хочешь. Бери меня...»

Она не знает, сколько это длилось. Пока вдруг, точно по чьему-то велению, она чуть повернула голову влево. К той узловатой, трижды изогнутой, любимой своей сосне. И — вздрогнула. Не поверила своим глазам. Протерла их, но все осталось так же: около сосны стоял, прислонившись к ней, человек — в абсолютной неподвижности,

большей, гораздо большей, чем ее собственная. Его можно было принять за изваяние. Но это был человек, живой человек, смотревший на Озеро. Он стоял в профиль к Ольге. Она видела библейский точеный профиль, волосы с легкой проседью. Но все это ничего не значило. Значило другое – какой-то тайный ритм его неподвижной фигуры, тайное движение внутри этой неподвижности. Ах, если бы он повернулся и можно было бы увидеть его взгляд!.. Она уверена, что встретила бы тот самый взгляд... Тот взгляд на реальном человеческом лице. Человек с тем взглядом... Выдержит ли сердце такую встречу?

Но вот волнение улеглось, и снова начала расти тишина. И было ясное и точное чувство, что кто-то движется внутри нее, приближаясь к своей великой, неведомой уму нашему цели. Чувствовать этот шаг внутри себя – это предел счастья... А чувствовать это не в одиночестве – самая фантастическая, самая несбыточная, мечта

На свете. Но вот она уже не одна. Пусть тот, другой, ничего не знает о ней, все равно – они вместе. Он слушает, так же слушает, то же слушает!...

Сейчас... сейчас... сейчас произойдет то, самое нужное. Еще одно мгновение...

И вдруг – происходит нечто страшное, невыносимое, как землетрясение, как взрыв. Слева, со стороны пансионата, приближается группа людей с транзистором, с громким навязчивым транзистором здесь, сейчас!!! Люди смеются, переговариваются. Они радостно возбуждены. Ольга чувствует, как эта лавина гуннов надвигается на что-то бесконечно хрупкое, от чего зависит жизнь всего мира. Да, да, всего мира. Она не сомневается в этом ни на секунду. Но как их остановить?! Боже мой, как?!

Она смотри на них во все глаза, точно хочет пресечь их силой взгляда, и вдруг видит что-то уже совсем, совсем невообразимое:

Они идут прямо на него. Они приняли его за дерево. Да, конечно. Они его в упор не видят.

И – о, какой крик! Какой страшный крик!.. Люди останавливаются, оглядываются. «Что это? Птица какая-то прокричала?» - растерянно говорит молоденькая девушка, глядя на своего спутника с транзистором. «Не знаю, милая. Мало ли здесь всяких незнакомых птиц в этом заповеднике. Мало ли здесь...». Он не договаривает. Крик повторяется. И люди в некотором смятении уходят дальше, а Ольга бежит, а может быть летит туда, к нему. Это, конечно, он кричал... Хотя, Господи, как похоже на Машу, на Белкину Машеньку! Сердце, которое только что готово было разорваться от счастья, разрывалось от боли. Вот она уже около него. Он лежит на земле. Лицо и руки в крови. Глаза закрыты.

Ольга кладет руку на его лоб. Он совершенно холодный. Нет, нет! Нет!.. Не может быть! — кричит ее сердце. Она зачерпывает ладонью воду из озера, смачивает его лицо. Обхватывает его голову руками.

И вот глаза открываются. Смотрят на нее молча. Потом он видит кровь на своих руках, чувствует ее на лице.

— У меня был приступ. И я расшибся, — тихо говорит он и медленно садится.

«Какой приступ? — думает она. — Неужели он не знает, что люди сшибли его и прошлись ногами по его лицу, рукам... Неужели он не знает?..»

— Простите меня. Я напугал вас. Благодарю вас. Я сам.

— Не надо. Не вставайте. Я хочу, чтобы вы лежали. Я сейчас вымою вам лицо и руки. Я сейчас помогу вам.

Ей кажется, нет, она уверена, что вся ее жизнь была подготовкой к этой минуте, подготовкой к тому, чтобы суметь помочь ему. Может быть, она для этого только и родилась на свет.

И вдруг он говорит уже совсем другим, удивительным голосом. Если бы озеро смогло заговорить, у него был бы этот голос — чувствует Ольга и застывает.

— Так ты увидела меня? Увидела, когда никто не видел?

Глаза Ольги полны слез. Они не проливаются, а только переполняют глаза.

— Что удивительного в том, что я увидела? — тихо-тихо отвечает она. — Скажи лучше, как это они могли не видеть?! Разве можно не видеть?!

На самом ли деле говорили они эти слова? Или это говорило Озеро и Деревья? Да, озеро и деревья. Но это-то и есть «на самом деле»...

— Вы из пансионата? — спрашивает он уже другим голосом, которым говорят только слова.

— Да, из пансионата, — отвечает она так же. — А вы?

— Я живу здесь, недалеко, на холме. У меня здесь избушка.;

* * *

— Меня зовут Эфраим, - говорит он.

— Почему - Эфраим? – слегка удивляется она. Но ей тут же становится это безразлично. Как бы ни звали, это он.

— Эфраим Аданов.

— Да, да, я знаю.

Он удивленно вскидывает глаза и так же быстро перестает удивляться.

И вот она впервые видит его картины, а он – человека, который знает наизусть его стихи, которые, как он думал, и вовсе никто не знает. Кроме узкого кружка друзей – никто. И вот...

Картин здесь было мало. Основное – в Москве. Но – с нее достаточно. Из озера Сариклен рождалось озеро Сариклен.

Взглянув на эти картины, нельзя было сомневаться, что Озеро – живое, что оно смотрит на вас, что Оно – любит вас, что оно вас ждет... Это великое ожидание, этот зов, эта просьба, обращенная к душе – вот что было на картинках. Озеро? Само ли озеро? Озеро было прозрачно. И сквозь него, как сквозь легкое облако, просвечивало еще что-то и еще.... Что? Здесь присутствовала нечто, чего не передать ни кистью, ни словом. Главное было то, что ни в одну картину не вмещается. Картина была лишь путем Туда... Бесконечным путем в Бесконечность...

И Ольга вошла в Бесконечность.

— Да... да... – услышала она обрывок фразы. – До сих пор были мои картины и зрители. А вы и есть моя картина.

— Что? – не поняла она. И вдруг опять перестала слышать. И снова слова:

— Озеро – одно. Одинокий глаз. Полная одинокость. Люди на берегу. Где бы они ни были, люди – около. А Оно – одно... Но вот я увидел лицо, которое и есть Озеро. Озеро Сариклен.

Заря отгорела. Сумерки. Первые звезды. Маленький костер на холме. И огромное молчание.

Он подбросил поленьев в костер, сел и неожиданно сказал:

— Люди считают, что мир держится сам собой. Греются у костра. И совсем не думают о том, кто его разжег. И о том, что огонь надо все время поддерживать. Все-все время...

Поленья потрескивали. Чуть шуршали ветки. А его голос сливался с этими ритмами, с этими звуками:

— Рожают, хоронят... Но разве можно просто похоронить и все? Или родить и выбросить в мир душу — на ветер, на дождь, на мор, на боль... Нет, это невозможно. И живых, и мертвых надо поддерживать. Вот так, как этот костер. Как поддерживать мертвых? Да так же, как и живых. Всем нужно воскресение. Воскресение и жизнь вечная. Без вечной жизни не будет и этой временной. Это, в сущности, так очевидно. Не будет жизни, как костра без дров. Воскресение — это наше дело, дело всех душ — собирание Духа. Духа, а не косточек. Но капле, по крошке, за мигом миг...

Слова его перешли в стихи. Как-то сами собой:

И вовсе им ничто не чуждо
Земное. Вовсе нет стены.
Но мертвым нужно, мертвым нужно
Гораздо больше Тишины.
Вот той, что накопили горы
И лес, тысячелетний лес...
Гораздо более — простора,
Гораздо более — небес,
Полей и моря, чем собрала
Душа на смерть свою в запас.
Все, что даем мы, — им так мало!
Им нужно больше, больше нас!
О, так неизмеримо много
Живого духа нужно им! —
Наверно, столько, сколько Богу,
Чтоб сделать мертвого — живым!

Вот столько и надо собрать, чтобы был Простор и была тишина, чтобы не угасала жизнь. Жизнь — это костер, в который нам надо подбрасывать поленья... Только то, что сгорает, не умирает.

Сейчас... сей-час... Все глубже,

внутри, в упор.

И — собран Дух. — Аз есмь! И вот тогда-то

Выходишь ты в торжественный простор,

В великую расправленность заката.

И тянутся объятия зари,

И в этом нескончаемом полете—

Единый возглас: «Господи, бери!»

О, убыль мира... Истонченье плоти...

Одному почти невозможно выдержать это. Но если нас хотя бы двое!..

31 июля 1986 — 17 июня 1987 г.